

ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Военные
Приключения



**В СТА КИЛОМЕТРАХ
ОТ КАБУЛА**

Военные приключения. Собрание сочинений

Валерий Поволяев

**В ста километрах
от Кабула (сборник)**

«ВЕЧЕ»

2019

Поволяев В. Д.

В ста километрах от Кабула (сборник) / В. Д. Поволяев —
«ВЕЧЕ», 2019 — (Военные приключения. Собрание сочинений)

ISBN 978-5-4484-7955-7

Эти произведения – о войне, которая долго еще будет жить в наших сердцах и памяти. Эти произведения – о мальчишках, ушедших в Афганистан, о непростых военных дорогах, которые вели одних – к подвигу, других – к предательству и позору. Остросюжетные роман и повести известного российского писателя давно отмечены критикой и получили читательское признание.

ISBN 978-5-4484-7955-7

© Поволяев В. Д., 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

В ста километрах от Кабула	6
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Валерий Дмитриевич Поголяев

В ста километрах от Кабула

© Поголяев В.Д., 2019

© ООО «Издательство «Вече», 2019

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

В ста километрах от Кабула

Ночью Абдулла занял кишлак.

Абдулла знали многие. Знала вся округа, знал уезд, в котором он родился, знал соседний уезд, знала провинция, которую он считал своей, и провинция соседняя.

Абдулла пришел в этот равнинный кишлак в половине одиннадцатого ночи, расставил посты, чтобы его не захватили врасплох части народной армии, от своего человека узнал, кто в кишлаке партийцы, кто активничает, с надеждой поглядывая в сторону народной власти, а кто еще только примиряется, и накрыл кишлак сетью. Кое-кого Абдулла поймал в эту сеть. Но несколько партийцев все-таки ушли.

– В Кабул понеслись зайцы за помощью, – усмехнулся Абдулла, помяв пальцами мягкое, лишенное растительности лицо. Сколько Абдулла ни пробовал, он никак не мог отрастить бороду и усы – продолговатое, с мягким женским абрисом лицо его всегда было голым. – Давайте, давайте, зовите помощь, ведите сюда! Тут мы вас, зайчики длинноухие, и прихлопнем! Пусть вам в этом праведном деле Аллах поможет!

Щеки у Абдуллы были покрыты крупными плоскими оспинами, бровей, как и бороды, тоже не было – почти не было, брови, как и волосы на голове, вылезли в детстве от странной болезни и больше не восстановились; кожа у Абдуллы была гладка и нежна, будто у женщины. Отсутствие волос делало Абдуллу несовершенно по мусульманским понятиям, и Абдулла, осознавая это, нередко вскипал от одного только любопытного взгляда, будто кумган, подвешенный за дужку над жарким костром, маслянисто-черные глубокие глаза его от ярости светлели, делались прозрачными, лишенными цвета, будто вода, и такой холод искрился, плыл в этой воде, что всем, кто видел глаза Абдуллы, делалось страшно, храбрецам становилось зябко: лучше в руки этого человека не попадать.

– А еще, муалим, у нас в кишлаке умные люди появились, – сообщил Абдулле верный человек и согнулся в поклоне: знал этот человек, что Абдулла любит, когда его называют муалимом – учителем. – Только не от Аллаха эти люди.

– А от кого? – спокойно спросил Абдулла. – Кем рождены?

– Они из Кабула. В Кабуле, как известно, Аллаха нет.

– Не гневи небо, в Кабуле шестьсот мечетей. Еще четыре года назад было только триста.

– Что кабульские мечети, муалим! Сырая глина! С гвоздями для электропроводки. Разве в старых мечетях была электропроводка? А муллы? Я был как-то в Кабуле, в мечети, там выступал мулла. Из кармана у него торчал партийный билет, щеки были разукрашены помадой падших женщин, а изо рта несло так, будто он по самое горло был налит кишмишовкой.

Губы у Абдуллы сжались в тонкую жесткую линию, гладкокожее нежное лицо с удлинённым черепом округлилось, глаза посветлели: несколько лет назад в Кабуле его угостили кишмишовкой – крепким, с дурным духом самогоном, сваренным из винограда, прозрачно-желтым, чистым, будто мед, а на самом деле таким, что за него надо бы тому, кто кишмишовку делал, вспороть живот. В кишмишовку для того, чтобы она была крепче, намешали разных дешевых таблеток. На них Абдулла попался – хватил стакан сгоряча – вначале вроде бы хорошо было, а потом чуть Аллаху душу не отдал – его выворачивало вместе с непереваренной едой, с кровью шла желчь, с желчью еще что-то, еще часа два Абдулла рвало, пока окончательно не вывернуло наизнанку. Ослабший, оглушенный, с тяжелыми мозгами, он трое суток провалялся в постели. Еле-еле втащил свою телегу в гору, не помер.

Потом он пробовал найти того, кто его угостил этим ядом, специально ведь угостил, кафир¹, – не нашел, но потом, через полгода, все-таки наскочил на этого человека – видать,

¹ Кафир – неверный.

Аллах помог, и пока тот распространялся в любезностях, прижимая руку к белой рубашке, поверх которой была надета толстая шерстяная жилетка с двойной подкладкой, Абдулла вытащил из кармана нож с узким, беззвучно вылетающим лезвием и ткнул кафиру в глаз. Кафир захлебнулся в крике, в глотку ему словно бы попал камень; Абдулла, чтобы неверный не орал, будто осел, которому топором оттяпали хвост, зажал ему рот ладонью, вывернул голову так, что у неверного глухо хряпнули шейные позвонки, и опорожнил второй глаз. На прощание произнес одну, одну лишь фразу:

– Моли Аллаха, что я тебе вообще глотку не перерезал.

Вспомнив о неверном, чуть не отравившем его, Абдулла проговорил жестко:

– Всем глаза выколем, дай только время. Черед придет – выколем всем, всем!

– Муалим, в этом кишлаке открыли школу.

– Школу? Зачем?

– Я вот тоже спрашиваю – зачем она тут? И себя спрашиваю, и Аллаха – не нахожу ответа. Может, вы, муалим, ответите, зачем нам нужна школа? – Верный человек говорил смело. В следующий миг он испугался этой смелости и склонился в поклоне. Под рубахой у него обозначились остренькие, неестественно уменьшенные лопатки: тело верного человека было хилым, словно его редко кормили. Плевать в конце концов на тело, главное, человек этот имел хорошую ясную голову, лисье чутье и волчью беспощадность. Абдулла ценил верного человека, поэтому и позволял ему говорить накоротке.

– Ничего не отвечу я тебе на это, – проговорил Абдулла тихо и жестко, помял щеки пальцами, – в других кишлаках школ нет и тут не нужна. – Он подвинтил огонь яркой китайской лампы, горевшей на столе, несколько раз качнул насос. Сделалось светло, как днем, лампа загудела ровно и умиротворенно, будто походный примус. Хорошую продукцию производят соседи. И фонари у Абдуллы китайские, и автоматы Калашникова, и консервированные сосиски, и пуховики, чтобы не мерзнуть в горах, и «эресы» – легкие ракеты класса «земля – земля», – все китайское. Проговорил, тяжело глядя на верного человека:

– Ну?

– Кабул прислал в кишлак двух учителей, – верный человек вдруг дробно, как-то поптичьи рассмеялся: – Оба дураки, но занятия ведут.

– Где они?

– Крепко спят и совсем не чувствуют, что не там ночуют. Койоты! Они здесь, в кишлаке.

– Учителя, значит. – Абдулла усмехнулся, глаза у него начали светлеть, наливаясь опасной прозрачностью; заскользили, заметались в них ледышки, – счетные палочки за ушами, вонь изо рта, медленный голос, затрецины и непременно желание научить детей читать и писать, да?

– Да, и непременно желание научить детей читать и писать, – подтвердил верный человек.

– Взять учителей! – приказал Абдулла.

Учителей взяли – те не смогли сховаться, и время на это имели, и возможности, а не воспользовались. Молоды еще были учителя – оба только что из теплого гнездышка, именуемого техникумом, летать пока не научились, крылья тощие, пера мало.

– Чему взяли, спрашивается, учить детей? Тому, чтобы они были такими же голозадыми, как и сами? – Абдулла задумчиво огладил гладкое лицо, поднял испанский, дорого поблескивавший в свете лампы пистолет «стар», щелкал курком и, что-то переборыв в себе, отвел глаза в сторону. – Сосунки! Надо бы посмотреть на них, но смотреть не буду.

– Тогда скажи, что делать с учителями, Абдулла?

– Обычная процедура: отрезать головы, зашить в животы.

То, что Абдулла называл обычной процедурой, было уже исполнено не раз – к этой процедуре, вызывавшей у новичков зябкую дрожь, озноб, некоторую бледность, обмороки, люди

Абдуллы привыкли. Оказалось, это так несложно – отхватить человеку голову и засунуть ее в кровоточащий, черно-перламутровый распах живота – операция, правда, требует некой последовательности и мастерства, но все-таки она несложная. У Абдуллы было несколько мастеров высокого класса, сумел воспитать.

Молодых учителей убили. Один из них перед смертью плакал – в Кабуле у него оставалась мать, одна-единственная на всем свете, и он у нее один был единственный, больше никого у матери не было, ни сыновей, ни дочерей, снова плакал, глотая слезы, читал Руни – думал, подействует, но не подействовало – над учителем посмеялись, а потом отсекали голову и развалили парня пополам. Живой человек, только что источавший слезы, тепло, звуки, стал источать лишь запах, один только запах крови и разрубленных внутренностей. Второй принял смерть молча – у него не было матери.

– А с учениками что? – спросил у Абдуллы Мухаммед – верный помощник, длиннорукий, с тяжелыми натруженными кистями и унылым пористым носом. Мухаммеда Абдулла ценил – был помощник проворен в деле, не боялся пуль и окружения, как собственные карманы знал афганские кяризы – колодцы, соединенные друг с другом в земной глубине, он мог легко увести людей в темень от любого преследования и сутками не выводить из кяризов – впрочем, Абдулле кяризы были знакомы не хуже, – знал Мухаммед, где, не поднимаясь на поверхность, можно добыть еду, воду, где можно разжечь огонь, а где вести себя беззвучно, словно тень, и на деле быть своей собственной тенью, не больше, и знал места, где можно было всласть пошуметь. Бывалый человек был Мухаммед, и это Абдулла ценил.

– С учениками? – Абдулла огладил рукою лицо, сжал узкий, с едва намеченной ямочкой подбородок – он и сам не знал, что надо сделать с учениками, не думал как-то. Спросил, недовольно растягивая слова, словно бы всплывая на поверхность самого себя. – А что с учениками?

– Я тоже думаю что, – сказал Мухаммед. – Жду указаний, муалим.

– Они что-нибудь совершили?

– Ничего, – качнул головой Мухаммед, помялся, соображая, то ли он говорит. – Ровным счетом ничего.

– Тогда в чем же дело? – Абдулла подсаживал на некую бесплотность разговора: не поступать же с учениками так, как с учителями – степень вины разная.

– Ничего не сделали ученики, но они ходили в школу, – твердым голосом произнес помощник.

– И в этом вся их вина?

– Да. Разве этого мало?

Абдулла, подумав, согласился с помощником, сжал губы, глаза его начали светлеть.

– А ведь верно, – сказал он, – чему можно научиться у кафиров?

– Сквернословию и непочитанию Аллаха, – сказал Мухаммед.

– Я сам проверю их знания, – сказал Абдулла. Пригнувшись, заглянул в узкое, словно божница земляного укрепления, оконце. На востоке обозначалась легкая серовато-розовая светлина, горные звезды утишили свой свет, птицы, чувствуя рассвет, перестали петь – вот-вот должно было явиться чудо, но чудо не являлось, хотя и ощущалось: оно через секунду-другую обязательно явится, вот только что-то медлит, смущается, ведет себя, будто девица, которую готовят под калым: завтра пригонят верблюдов с платой, и она навсегда перейдет в пользование мужа. – Хорошая пора для стрельбы, – задумчиво проговорил Абдулла.

– Хорошая, муалим. – Помощник тоже пригнулся, чтобы увидеть игривую жемчужно-серую зарю.

– Люди спят?

– Как убитые, не шелохнутся.

– Посты расставлены?

– Да. Я сам проверил их.

– Проверь еще!

– Будет сделано, муалим.

– Ну а с учениками, решившими отступить от Корана, я поговорю сам. Ты прав, это надо обязательно сделать. Хорошо, что обратил мое внимание.

– Иначе бы вы, муалим, не были муалимом, – произнес Мухаммед.

Фраза эта была заискивающей, хотя в тоне не было ничего заискивающего, тон был жестким, в голосе звучало железо.

Абдулла поглядел на помощника и сделал рукою отсекающий жест:

– Все, иди, Мухаммед!

Мухаммед коротко, почти не сгибая шеи, поклонился и вышел. Абдулла остался один. Никто не знал, когда он спит. Дважды его пытались застать врасплах спящим и дважды натыкались на пистолет – это было еще до того, как он собрал под свое начало людей. Абдулла умел стрелять на десятую долю секунды раньше, чем стреляли в него. Он многое умел в этой жизни – и разгадывать мысли, и читать следы, и предчувствовать опасность – люди Абдуллы редко когда попадали в засады. Что же касается сна, то он не спал вообще – Аллах решил, что спать Абдулле нельзя, и Абдулла не спал: ночи у него были прозрачными, гулкими, со множеством звуков, которые другие не слышали вообще, со звонким биением крови в ушах, с болью, что исчезает с рассветом и туманом, беззвучно поднимающимся от земли, струистым, липким, бестелесным, странно мерцающим – туман всегда создавал вокруг Абдуллы защитную оболочку, сквозь которую никто не мог проникнуть. Ночи, ночи! Мается Абдулла по ночам в вязкой темени, страдает, стонет, ловит все звуки, что до него доносятся, принимает их своим усталым телом, словно пули – звуки пробивают его плоть – дергается, а уснуть не может.

Утром к Абдулле привели школьников: двенадцать человек. Все как на подбор недомерки, одетые в рванье, босоногие, коричневолицые, черноглазые, будто бы одной матерью рожденные и от одного отца произведенные. А может, они действительно от одного отца? Хмурая сосредоточенность, не позволяющая им плакать, отчужденность, испуг и в ту же пору желание казаться взрослее, чем они были на самом деле, – вот что было написано на лицах этих маленьких людей.

– Значит, решили научиться писать, читать, алгебру решили познать? – шевельнулся на своем стуле Абдулла. Для него во двор специально вынесли стул, поставили на землю, за спиной немymi тенями застыли Мухаммед и два молодых телохранителя-суннита – два брата, которых Абдулла знал с малых лет: по годам Абдулла был моложе своего заместителя и ненамного старше телохранителей, но опыта имел больше, чем Мухаммед и телохранители, вместе взятые, и в жизни своей хлебнул горького варева гораздо больше, чем они, и одно только осознание этого иногда оборачивалось для Абдуллы глухой тоской, на глазах у него даже слезы наворачивались: ну к чему ему все эти тяготы? Абдулла жалел себя. – Разве вы не знакомы с простой истиной – чем меньше знаешь, тем лучше живешь? – спросил он у ребяташек.

Ребяташки молчали.

– И денег больше, и еды в доме, и скота в дувале, – всего больше, и сон хороший... Так нас учил Аллах, все это завещано Аллахом. Аллах велик, человек мал, ничтожен, словно конопляное зернышко. Что все мы перед Аллахом? И что вы перед Аллахом?

Ребята продолжали молчать, стояли перед Абдуллой смиренно, будто куры, только сумрачно блестя глазами. Иногда переступали с ноги на ногу – ноги у всех были одинаково черными, с навечно въевшейся в поры грязью, теперь уже мой – не мой их – никогда не отмываются.

– Аллах запретил вам учиться, но вы нарушили этот запрет, неверные. Зачем вы это сделали? – Абдулла смежил веки и откинулся на стуле назад. Был он одет в чистую коричневую

рубаху, в такие же штаны – ткань легкая, нежная, привезена из Пакистана, – подпоясан офицерским ремнем с перекинутой через плечо португеей, из легкой, с укороченным клапаном кобуры торчала перламутровая ручка «стара». – Ну, объясните, зачем вы это сделали? – спросил Абдулла с неожиданной болью и, качнувшись на стуле, открыл глаза. В глаза ему было лучше не смотреть: прозрачные, жесткие и холодные, будто вода в горах. – Сколько раз вы ходили в школу?

– Два, – раздался тоненький, с дрожащими птичьими нотками голос.

– Кто сказал два? – тотчас спросил Абдулла.

– Я, – помедлив немного и кое-как справившись с собою, отозвался длинношеий, с большими выпуклыми веками паренек, одетый в латаные джинсы. Джинсы были старые, их столько раз стирали, что они не то чтобы потеряли свой цвет, они потеряли цвет вообще, в нескольких местах светились.

– Ты, бача², Аллаха считаешь?

– Почитаю, муалим, – по-прежнему тоненьким дрожащим голосом произнес паренек, переступил с ноги на ногу, грязные отвердевшие джинсы на нем захрустели.

– Это хорошо, что ты меня зовешь муалимом, – сказал Абдулла, – и в то же время плохо. Ты боишься меня и поэтому подхалимствуешь. Ты боишься меня?

– Не знаю, – неуверенно приподнял одно плечо паренек.

– А я знаю – боишься. Прочитай мне двадцать третью суру Корана.

Паренек молчал. Скользнул глазами в сторону, приподнял второе плечо, потом хотел было плечи опустить, но не опустил – движения его были сиротскими, пришибленными – и втянул в них голову. Черные глаза его погасли: будто бы горела в них свечечка, теплилась слабо, поддерживая жизнь в тщедушном теле, которому много не надо, – и потухла.

– Двадцать третью суру ты не знаешь. Прочитай мне девятнадцатую суру. – Абдулла сцепил руки на коленях, большими пальцами, один вокруг другого, прокрутил мельницу.

Паренек продолжал молчать, лицо его сделалось безучастным, далеким, неживым – этот недомерок на глазах становился взрослым, у него было лицо взрослого человека.

– Ты когда-нибудь об Аллахе слышал? – Абдулла вздохнул затаенно, словно бы жалея себя и этих грязных ребяташек. – Отвечай, кафир!

– Слышал.

– А о Коране?

– И о Коране слышал.

Абдулла оглянулся на своего помощника.

– М-да, ну и птичка растет, Мухаммед. А? Какова? Ты понял, чему учили кафиры из Кабула этих ишаков? Вместо того чтобы воспитывать из них воинов Аллаха, учили их презрению к Аллаху! Этого вам не простит никто. – Абдулла повернулся к детям, вновь прокрутил большими пальцами мельницу, то убыстряя движение, то замедляя. – И меня Аллах не простит, если я вас не накажу. Мухаммед, принеси-ка мне... – Абдулла, не договорив, повел головой в угол дувала.

В углу, на отвердевшей до железной прочности земле, стоял чурбак с воткнутом в него топором. На старом, иссеченном ударами чурбаке хозяин двора рубил хворост; если перепадали дрова – рубил дрова. Растительность в этом горном, забитом темной глинистой пылью районе была не самая богатая – рос кустарник, росла искривленная, завязанная ревматизмом и ветрами в узлы арча; высоких деревьев, как в Кабуле или в Джелалабаде, тут не было – не хватало воды, не хватало корма и удобрений. Не всякий житель кишлака мог позволить себе топить дом, как хозяин этого дувала.

– Топор? – спросил Мухаммед.

² Бача – сын, сынок.

– Ты недогадлив, как шурави³, которого угощают отравленным пловом, а он думает, что этот плов не с отравой, а с кишмишем. Тащи все – и топор, и плаху.

Мухаммед кивнул и тяжелой размеренной походкой, провожаемый глазами ребяташек, двинулся в угол дувала. Когда Мухаммед шел, то всегда казалось – Мухаммед думает о чем-то тяжелом, непростом – у него была походка замкнутого, закупоренного в собственную раковину человека, грузные натруженные руки висели вдоль тела мертво, не подыгрывая шагу, не двигались – они словно бы существовали сами по себе. Но это были руки, что могли оторвать от земли и бросить в кузов машины стапятидесятикилограммовую бочку с бензином – сильнее Мухаммеда в их отряде не было человека. Да что бочка с бензином – Мухаммед мог задушить быка, ударом ладони отсечь голову собаке, ухватиться за зад газующей с места «той-оты» и удержать машину. Мухаммед принес чурбак с топором и поставил недалеко от стула Абдуллы. Что надумал сделать Абдулла?

– Ладно, теперь вот ты мне прочти что-нибудь из Корана. Прочти... пусть это будет двадцать шестая сура. – Абдулла повертел большими пальцами мельницу и, не расцепляя рук на колене, указал на серолицего мелкозубого пацаненка в длинной, сшитой из женской накидки рубахе – голь перекатная, видно невооруженным глазом. Пацаненок невольно подался навстречу, испуганно вытянулся лицом:

– Я?

– Да, ты.

Пацаненок схлебнул воздух, пискнул, будто птица, в которую угодила дробина, и вдруг противно, как-то по-щенячьи мелко затрясся.

– Ты не знаешь Корана, – укоризненно произнес Абдулла, – ты совсем не знаешь Корана. Ни двадцать шестую суру, ни двенадцатую, ни первую.

– Этому я хотел научиться в школе, – наконец справился с собою пацаненок.

– Этому в школе никогда не научишься. Никогда и ничему. И я, когда ходил в школу, тоже ничему не научился. Напрасно твои родители доверились двум кафирам, пришедшим из Кабула. Это не учителя, это чучела, которым надлежит пугать ворон на полях. Твои учителя сейчас смотрят на божий свет сквозь животы – такая доля им выпала по повелению Аллаха, а надо бы с них содрать кожу, набить соломой и выставить на поле. Твой отец виновен в том, что доверился кафирам. – Абдулла сожалеюще покачал головой. – Кафир не может быть учителем. Я расстреляю твоего отца, он совершил проступок, за который должен расплатиться.

– Отец ни при чем, – затрясся, болезненно кособочась, пацаненок, – я сам пошел в школу, он ни при чем.

– Без его ведома пошел? – с сомнением спросил Абдулла.

– Без его ведома.

Абдулла в последний раз задумчиво прокрутил мельницу, расцепил руки, поднялся. Было слышно, как в теле его хрустнули кости – чего-то у Абдуллы не хватало: то ли солей, то ли лимфы, то ли крови, – а может, это только казалось, может, Абдулла был наделен чем-то таким, чем не наделены другие люди, и, верно, ведь наделен – Абдулла умел распознавать, что говорят птицы и звери, ведал, определяя по движению воздуха в воздухе, о чем шепчутся растения, в каком кяризе можно взять воду – вдоволь воды, чтобы напоить и людей и лошадей, умел возвращать жизнь остановившемуся сердцу, пораженным легким, вывернутому наизнанку желудку – Абдулла отличался от других людей. Он сделал нетвердый шаг, разминая застоявшиеся трескучие кости, потом резко выкинул руку и цепким движением ухватил пацаненка за запястье.

Дернул, заваливая мальчишку на себя. Тот покорно повалился, глухо стукнувшись коленками о землю, взвизгнул надорванно, но Абдулла словно бы не услышал его крика, подтащил

³ Шурави или шуорави – советский, русский.

пацаненка к чурбаку. Ловко взялся за длинный черенок топора, на лету перекинул пальцы по топорищу на середку, чтобы было удобнее держать, вхолостую рубанул воздух, пацаненок заорал предсмертно, тонко, выплевывая из себя невесть откуда взявшуюся кровь, взбрыкнул ногами, стараясь за что-нибудь зацепиться, но что Абдулле это слабое движение, он прижал руку пацаненка к иссеченному дереву и коротко, без замаха ударил топором по пальцам. Удар был ловким – отлетело, брызгаясь кровью, сразу четыре темных, скрюченных, похожих на застывший кошачий помет, пальца, вторым ударом Абдулла отрубил мальчишке большой палец. Сплюнул себе под ноги:

– Это для того, чтобы ты никогда не смог держать карандаш – писать тебе, кафиренок, не дано, твой удел – земля и мотыга. – Выкрикнул: – Мухаммед!

– Я здесь, муалим!

– Вышвырни кафиренка за дувал, чтоб не мазал землю кровью, и так грязи полно.

– Слушаюсь, муалим! – склонил голову Мухаммед, схватил пацаненка за ногу, приподнял его, словно курицу, и понес к воротам.

– А отца расстреляй. За то, что слабоумен. Другим устрашение будет – перестанут своих кафирят отправлять в школу.

Мухаммед вынес пацаненка за дувал и швырнул в жесткую, трескуче-ломкую сухую траву, хлопком стряхнул грязь рукою с руки и молча отправился за отцом парнишки.

А Абдулла, ловко поигрывая топором – он был музыкантом в этом деле, профессором, поотрубал пальцы всем детям, и всем до единого – на правой руке. Чтобы никогда больше не могли кафирята держать карандаш, ручку. Абдулла знал, за что наказывает людей. Тоненькая ниточка жизни, которой каждый из людей был привязан к этой рыжей, горькой, до огненной крепости прокаленной солнцем земле, мало что значила перед исламом, да и вообще что может значить жизнь человеческая, когда в опасности находился ислам? А Абдулла служил исламу.

– Вновь объявился Абдулла-Чок⁴, – сообщил утром на оперативке командир батальона царандоя – афганской милиции – майор Вахид, – зверствует Рябой! Четверо убитых, двенадцать искалеченных. Двое – учителя, присланные Кабулом, всего лишь два занятия провели, двое – отцы учеников, ходивших в школу, двенадцать – сами ученики. – Вахид не удержался, ударил кулаком по столу, будто удар этот мог что-то решить или хотя бы чем-то подсобить, сморщился, густые черные усы у него встопорщились: когда Вахид сообщал неприятную новость, у него осекалось перехваченное дыхание, еще минута, и воздуха ему не хватит – на висках у Вахида вздувались жилы, уголки рта обиженно опускались под встопорщенными усами – Вахид был горяч; ему надо бы немного позаимствовать холода, иначе, несмотря на храбрость, несмотря на везение, что, как известно, на войне значит больше храбрости, можно было угодить в капкан. Несмотря на то что везение – это везение, горячая голова все равно перекрывала везение.

– Бывает ведь: и умен человек, и образован, и операцию продумает так, что комар носа не подточит – маршала бывает достойна операция, верховному главкому не стыдно под нею подписаться, но если не повезет, так не повезет – обязательно случится что-нибудь непредвиденное, – не раз говорил Вахиду Сергеев, тоже майор, русский мушавер⁵, приданный в помощь Вахиду, – и блистательно задуманная операция благополучно завалится. Все дело в везении. На невезучего человека обязательно сваливается с крыши кирпич, под ногами совершает кувырок водопроводный люк, совершенно трезвый, он попадает в передрагу, в которую может попасть только пьяный, и оказывается в вытрезвителе, в реке он обязательно оказывается в водовороте, в лесу – в яме, вместо настоящего белого гриба как пить дать зажарит ложный белый и ско-

⁴ Абдулла-Чок – Рябой Абдулла.

⁵ Мушавер – советник.

рехонько попылит ногами вперед в черный окоп, именуемый могилой. Если, конечно, его не спасут врачи. И все дело в везении. Либо в невезении.

– И я о том же говорю, – щура глаза, усмехался Вахид, – везение либо невезение, промежуточного не бывает. Помнишь, в прошлом году я наступил на мину? Она должна была взорваться, но не взорвалась. Почему не взорвалась, даже специалисты не знают. Что это такое, рафик⁶ Сергеев?

– Это и есть везение.

Вахид всегда был весел, легок на слово и на подъем, быстро гневался и также быстро отходил – для него время и скорость были совместимы: одно отождествляло другое, – умел очень многое, но никогда не хвастался своим умением, и Сергеев, человек, в силу своей профессии в общем-то не очень доверчивый, быстро поверил афганскому майору Вахиду, а майор Вахид – Сергееву. Понял Вахид, что с Сергеевым он сработается, а когда сработается, притрется плотно – ни люфта, ни зазоров не будет, научится понимать его с полуслова, полувзгляда, полужеста, то... в общем, они обязательно совершат что-нибудь выдающееся.

– М-да, совершить бы что-нибудь героическое рубля так на три, – вторя веселому настроению Вахида, веселел Сергеев, – или на четыре!

– В Афганистане рубли не в ходу, – окорачивал его веселый Вахид, – в Афганистане – афгани.

– Русские ребята твои афгани афонями зовут. Сколько стоят джинсы «суперрайф»? Две тысячи афоней.

В этот раз майор Вахид был мрачен.

При всей остроте классово-борьбы – майор был последовательным марксистом, хотя и наивным, как покойный руководитель Тараки, – при всех победах и поражениях, когда и больно бывает, и горячо, и сладкое приходится есть, и горькое, он не понимал такой вещи, как жестокость. Ну, к чему жестокость Абдуллы? К чему рубить детишкам пальцы, к чему калечить жизнь, стрелять отцов, отсекал головы беззащитным, ни одного человека в жизни не обидевшим учителям? Бессмысленная жестокость. То ли болен Абдулла, то ли свихнулся, то ли порча его сосет, выедает изнутри, то ли еще что-то есть – да впрочем, что порча, что болезнь, что сдвиг! Сам факт, что Абдулла – басмач – это уже больше чем болезнь, порча и сдвиг, вместе взятые. Вахид невольно поморщился, будто внутри его что-то зажалось, стиснул пальцы в кулак, замахнулся, чтобы снова с силой грохнуть по столу, но сдержался и тихо, почти беззвучно опустил руку.

– Все-таки я тебя поймаю, неверный, – пробормотал он, жестко сощутив глаза, в которых и тоска была, и боль, и усталость, что-то еще, до поры до времени сдерживаемое, неразгаданное, не вахидово вроде бы вовсе: человек ведь всегда загадка, всю жизнь, до самых последних дней своих, – поймаю я тебя, кафир с заячьим сердцем и мозгами блудной кошки. Берегись!

– Почему один ты поймаешь? – возразил Сергеев. – Мы поймаем!

– Мы поймаем, – согласился Вахид, – но у меня с ним свой счет есть. Трижды я брал Абдуллу, в руке он сидел, дергался, как жук, кусался, кололся, лапами ладонь щекотал, а стоило разжать пальцы, в руке никого не оказывалось. Вот какой хитрый душман Абдулла-Чок.

– Какие данные на него есть? Кто он? – Сергеев прибыл в Афганистан недавно, сменив раненого майора Вакулюка, и с Абдуллой еще не сталкивался.

– Летает, как ветер по всей провинции, носится сломя голову, то тут объявляется, то там, нигде зажать не можем. – Вахид хорошо говорил по-русски, бегло, не задумываясь над словами: учеба в Советском Союзе даром не прошла. – Но попадется кошка лапой в капкан, поймаем все-таки Абдуллу! Кто он, спрашиваешь? Бедняк, рафик Сергеев, неимущий, с головы до

⁶ Рафик – товарищ. Слово «рафик» было настолько популярным в Афганистане, что даже вытеснило вежливые формы обращения. Высшее проявление вежливости – это когда к фамилии либо к имени прибавляли слово «рафик».

ног ободранный бедняк, безграмотный – расписываться не умеет, хотя любит, когда его зовут муалимом. Но муалим этот вместо подписи к бумаге прикладывает палец. Отец умер рано – загнал его помещик в землю работой, мать тоже умерла. Абдулла зарабатывал на жизнь тем, что продавал воду. Он умеет доставать из кяризов самую чистую, самую вкусную воду. Носил воду на себе в Кабул. Когда умерла его мать, он вообще перебрался в Кабул. Работал в дуване, убирал помещение, был зазывалой. Когда выгнали – стоял на улице с картонной коробкой из-под ботинок и торговал шнурками. Дохода никакого, лепешку купить не на что было, а все при деле... Сам себя этим тешил – капиталист, дескать, предприниматель, а какой из Абдуллы предприниматель, рафик Сергеев?

– Раз сумел сколотить бандгруппу – значит, уже предприниматель. Раз так ловок, раз умеет выскальзывать – значит, уже больше, чем предприниматель, упускать Абдуллу нельзя.

– Просто сказать – «нельзя», да непросто это сделать. Абдулла всегда уходит, словно маслом смазанный. Если не по земле, то под землей, по кяризам. А кяризы он, водонос, знает куда лучше, чем мы с тобой.

– Кяризы, кяризы. Знать бы их. А я их совсем не знаю. Даже не видел, только слышал.

– И я не знаю, – потерял усы Вахид, – хотя и родился, сам понимаешь, не в Англии. Кяризы знают крестьяне, а я городской. Скажи лучше, рафик Сергеев, вот что... Ты человек ученый...

– Если бы!

– Когда война кончится?

Вот неожиданный вопрос! Если бы Сергеев имел свою руку в правительстве Хомейни, среди приближенных Зии Ульхака, в Америке, в канцелярии президента, в Китае и еще в ряде стран – и то, собрав все сведения в горсть, ссыпав их несколько раз из одной ладони в другую, тщательно следя за тем, как меняет свою окраску и звонит этот горох – и то вряд ли ответил бы на этот вопрос. А Вахид требует ответа. Глаза у него ищущие, усталые, в организме, чувствуется, есть надлом. Не должен человек сгибаться, словно бескостная лозина под напором ветра, напротив, человек должен, он обязан держаться и не думать о конце.

Как только военный начинает думать о конце, о победе, об очередной звезде на погонах, так все – сердце выпрыгивает из этого человека, будто птица из клетки, ничем уже достать его нельзя: рассыпается на алые брызги, остекленеет, раскатится бисером по щелям.

– Мы устали воевать!

– Это вы, Вахид, устали, а мы?

– Люди устали, звери устали, земля устала, Афганистан устал. – Вахид словно бы не услышал Сергеева. – Все устали! Когда кончится война?

– Когда перед валом денег, что отводится на эту войну там... там! – Сергеев повысил голос, потыкал пальцем вверх, в потолок, он словно бы на Аллаха указывал, – будет поставлена плотина, тогда и прекратится, деньги, деньги, деньги! Деньги – двигатель этой войны. Или ты считаешь, что ислам?

– Нет, рафик Сергеев. – Вахид огорченно покачал головой. – ты не знаешь Афганистан и афганцев. Не в деньгах дело.

– Возможно, я не знаю Афганистан так, как знаешь ты, но я знаю другое: выплеснулась из сосуда кровь не случайно. За нее заплатили. Там заплатили, там! – Сергеев вновь потыкал пальцем вверх, жесткое лицо его обузилось, сделалось некрасивым, скулы выперли: Сергеев сейчас мог сойти и за китайца, и за пуштуна, и за перса – в лице его возникло нечто такое, что объединяет необъединимое – перса объединяет с китайцем, а пуштуна из небольшого племени дзадзи с таджиком из Мазари-Шарифа. Станный закон: если человек приезжает работать в Афганистан, то в облике его обязательно появляется что-то афганское – в организме происходят некие перемещения, адаптация, сдвиги. Смотришь, и отрывка у него уже, как у афганца, и усы, как некий обязательный атрибут, есть и некая худощавость, и высушенность в теле обо-

значается, и впалость щек присутствует – афганец и афганец, а не русский. – Неким богатым дядюшкой, чьего имени ни я, ни ты не ведаем, оплачена.

– Существуют еще гордость, достоинство, отцовская могила, – начал было перечислять Вахид «двигатели» войны, из-за которых один человек пускает кровь другому, но Сергеев оборвал его:

– Толстая жена, которую надо защищать...

– Совершенно верно. – Вахид отвел глаза в сторону. Он, похоже, пожалел, что затеял этот разговор, но думал, что Сергеев вспыхнет, а Сергеев вспыхнул, поскольку имел на это право: хватит за афганцев делать то, что они должны делать сами, хватит защищать за них свободу – слишком дорого она обходится. Так примерно сейчас думает Сергеев, и он прав: много, очень много шурави погибло за то, чтобы в Кабуле могли спокойно торговать дуканы, мог цвести пыльный базар, а роскошный отель «Интерконтиненталь» принимать гостей. – Чем толще жена, тем она слаще – таков обычай. Афганистан – страна обычаев.

– А деньги, говоришь, дело десятое?

– Двенадцатое. Одними деньгами афганца не купишь. Есть идея, есть вера, есть дом, есть жена, есть ислам. Сложи все вместе – тогда что-нибудь и получится.

– Сколько получает солдат в Народной армии?

– По всякому. В армии есть разные солдаты – есть срочная служба, есть добровольцы, есть те, кто отбывает наказание.

– Солдат срочной службы, первогодок, сколько он получает?

– От двухсот афгани до тысячи.

– Вот ты сам и ответил на вопрос, когда прекратится война, от которой все устали. А обычный душман, или душок, как говорят наши ребята, завербовавшись в бандгруппу того же Абдуллы, получает пятьдесят тысяч афгани. Только в один присест, как пособие. А в некоторых группах – семьдесят тысяч. Ощущаешь разницу? Это только разовая сумма, которая выдается на руки жене. А потом еще выдается сумма на каждого ребенка – подушно: открывает клюв птенец – ему в клюв суют пачку денег. Выходит, плюс еще сумма. А дальше – ежемесячная зарплата не в пример солдатской. Да еще гонорар за каждую убитую душу, за каждую спаленную машину. Логика проста: хочешь быть богатым – стреляй, режь, ставь мины. Причем, ты знаешь, у них обчетов не бывает. Если душка обманут один раз, во второй он стрелять уже не будет. Зачем ему стрелять, тратить время, рисковать, когда он может сидеть дома, сушить кишмиш, обнимать жену и считать детей. Будет ли один нормальный человек убивать без денег другого нормального человека, а, Вахид?

Вахид неуверенно приподнял плечи – была в рассуждениях Сергеева некая логика, которую трудно было отбить: действительно, если не станут платить деньги, то один афганец откажется стрелять в другого. И в шурави откажется стрелять. Тем более от кого от кого, а от шурави всегда жди сдачи – афганец не станет сопротивляться афганцу, подожмет хвост, затихнет, залезет в щель, а шурави будет огрызаться до последнего патрона в автомате. И все-таки майор Вахид не мог согласиться с Сергеевым – в нем возникло нечто протестующее, сильное, способное сломать этого далеко не немощного человека: удачливый и решительный Вахид был известен многим. Щека у него произвольно дернулась, опуская угол шелковистой брови, что придавало его лицу сиротски-горестный вид. Вахид облизал языком сухие, успевшее спечься в уголках губы и проговорил упрямо:

– Есть еще кровники, есть обиженные, есть люди, у которых оскорблена совесть и вера, есть обманутые, есть уведенные силой...

– Слова все это, дорогой Вахид, слова. А что слова? Обычный звук, в котором столько-то гласных, столько-то согласных, одних больше, других меньше. Ну что еще? Из слов ни дома не построишь, ни дувала не сложишь. В лучшем случае попадут на бумагу – книгой донесений станут.

– Долговой книгой.

– Хорошее добавление, – похвалил Сергеев. – Человек, живущий в кишлаке, глядит в две стороны: на Кабул и Парачинар. Сам знаешь – приходит бандгруппа в кишлак и давай мобилизовывать людей в свои ряды. Схватят иного парня за локти, а он ни в какую – говорит, что уже отслужил. Его спрашивают: «А где отслужил? У Гульбеддина, у Ахмад-шаха?» Он: «В Народной армии Афганистана, два года, вот справка!» – И документ им на стол. Думаешь, за это сообщение его убивают? Нет, не убивают, понимают, что обученный человек им всегда пригодится, а говорят терпеливо, что служба в Народной армии – не в счет, теперь надо отслужить два года в бандгруппе. Уводят с собой человека, дают ему в руки оружие. Через два года, если Аллах бывает милостив, он возвращается в кишлак с другой справкой на руках. И с тех пор ведет себя вон как: если в кишлак приходят наши и пробуют мобилизовать, он им предъявляет справку из Народной армии – все, мол, хватит! Я два года отмаршировал, свое выбрал, земля застоялась, работать теперь на земле надо... Если приходят душманы, он и им справку душманскую выкладывает – я два года оттепужил, теперь вот домой вернулся, к земле, – хватит! И никто его больше не трогает. Дело это?

– Дело, рафик Сергеев, дело! Как видишь, кроме денег есть еще кое-что. Если по пальцам посчитать – пальцев на обеих руках не хватит.

– Но если уж этот отслуживший двум властям парень и пойдет служить, то только за хорошие деньги. Его покупают, как в дукане покупают мыло, презервативы, галоши и горох. – Сергеев тоже был упрям: коса на камень нашла, упрямство на упрямство, но вот ведь как – оба они играли в игру, которую нельзя было долго продолжать – они были единомышленниками и у каждого из них имелась своя правота: правота Сергеева и правота Вахида.

Сергеев огляделся, будто впервые видел штабную комнатку, в которой они сидели, скудную мебель, потертый, залитый чернилами стол – почему-то штабные канцелярские столы всегда бывает залиты чернилами. Это столько раз описано в разных очерках и рассказах, столько раз повторялось, что уже неинтересно было видеть залитый чернилами старый канцелярский стол, который царандоевцы возили за собой на армейском грузовике, продавленные кресла из искусственной кожи неопределенного цвета, мятый железный сундучок с блестящей двухрожковой вертушкой, схожей с рукоятью подрывной машинки – неременная принадлежность канцелярии всякой воинской части. На стенках висели и два плаката – один красный, революционный, на котором изящной арабской вязью, замысловато, как показания научного прибора, раскрывшего тайну сердца, было написано что-то на языке дари, и второй мусульманский, зеленый, сшитый из утратившего свою первоначальную яркость шелка, с изречением на пушту – вот и все убранство. Потолок низкий, некрашенный, с электрического ролика свисает засиженная мухами лампочка, на столе медный кувшин с водой, два граненых стакана, из которых раньше было принято пить водку – но то раньше, треснувший полевой телефон, по месту раскола стянутый синей изоляционной лентой. Что еще? Воздух, воздух!

Воздух в Афганистане особый, прокаленный, проперченный, просоленный, чуть сдобренный водой, а потом снова прокаленный в огромной печи, в нем есть все запахи, которые присущи людям, земле и животным, только запахи эти какие-то мумифицированные, они из прошлого, они сама бывшесть, которой неведомым чудом удалось сомкнуться с настоящим.

Есть в этом воздухе что-то горькое, тревожное, отчего хочется плакать – вспоминается далекая Россия, земля сергеевская – совсем иная, непохожая на эту, с дождями, с грибами, с печальной желтизной осени и запахом мокрой собачьей шерсти: у Сергеева, который любил собак, детство почему-то сопрягалось именно с этим запахом, и еще с запахом дыма. Хорош был дым сжигаемой осенью листвы.

Кому рассказать о том, как ему хочется домой, как хочется встать на колени и опустить голову на заботливо подставленные руки жены. Прислониться губами к ее пальцам, к огрубелым от домашней работы, но все-таки таким нежным ладоням, пересчитать все мозоли и

отверделые бугорки, уловить далекий аромат хороших духов – Майка признает только хорошие духи, потом затихнуть на недолго, и все, можно вновь назад, в жаркий Афганистан. Из подмосковной осени в проваренное пыльное суровое лето.

Видно, что-то изменилось в лице Сергеева, раз Вахид перестал распространяться о высоких материях, отвергать власть денег и утверждать власть духа – майор Вахид молчал и с интересом смотрел на Сергеева, и Сергеев, выплывая на поверхность самого себя, примирительно улыбнулся Вахиду. Улыбка была тихой, но и она вызвала боль – у Сергеева растрескались и закривили губы. Чем он их ни смазывает – ничего не помогает, текут, кровоточат губы в этом климате.

Пробовал вазелин, питательный крем, какую-то желтую детскую мазь местного производства, пахнущую пеленками, бесцветную губную помаду, которой Сергеев пользовался, когда катался на лыжах в горах – все впустую: губы разносило будто от лихорадки, разъедало потом и солнцем, нездоровой здешней водой, которую надо было обязательно пропускать через фильтры, но до этого руки не всегда доходили – сами афганцы пили местную воду, в которой были даже холерные палочки, без всяких фильтров, так почему не должен пользоваться фильтрами Сергеев? Нет, он должен быть таким, как все. Один раз утвердив это правило – он, как бюрократ, утверждал правила собственного поведения, быта, общения, – уже никогда не отступал от него. Даже если это грозило хворьями, ранами, заразой.

Глаза его ожили, печальный внутренний свет, струившийся изнутри и сфокусировавшийся в зрачках, угас.

– О чем думал, рафик Сергеев? Признавайся!

Не стал отнекиваться Сергеев. К чему, зачем? Неискренностью можно породить неискренность, недоверие, а этого Сергеев хотел меньше всего.

– О доме думал, – сказал он и, помявшись немного, словно ему что-то мешало говорить, попросил: – Давай не будем больше ссориться!

– Давай! – согласился Вахид. – Деньги, кишлачные обиды, неоплаченный калым за жену, украденные бараны – все это не имеет никакого отношения к революции и дружбе.

– Что с Рябым Абдуллою? Что будем делать?

– Ловить будем.

– Это понятно – ловить, другого выхода нет. Есть какие-нибудь оперативные соображения?

– Оперативное соображение одно – надо узнать, где находится Абдулла и заслать к нему нашего человека. – усы у Вахида встопорщились, он фыркнул что-то под нос, словно ребенок, в тот же миг поймал себя и застеснялся. Темный, чуть с синевой румянец возник на щеках Вахида. – Пыль, – пояснил он, – так забивает ноздри, что отвертка не берет. Две пробки, в каждой ноздре по одной, хоть штопором выкручивай.

Пыль здешняя убойная, хуже самой вредной химии.

Ущелье, по которому двигалась группа Абдуллы, было узким и темным. Встречались места, пахнущие мхом, сыростью, гнилой травой.

Сюда никогда не доставало солнце, под копытами лошадей глухо постукивали стронутые с места влажные камни, катились вниз по узкой ложбине, рождали дробный многократный звук и затихали. Люди Абдуллы оглядывались. Было холодно, пояс тепла проходил наверху, высоко за каменной закраиной, где летали орлы.

Здесь же шипели змеи, да гулко, вызывая нехорошие сбои в сердце, капала вода, сочилась тонкой блестящей струйкой под копыта лошадей, лошади оскользались на мокрых камнях, хрипели, с губ под ноги срывалась розовая пена. Люди Абдуллы поднимались все выше и выше, словно бы надеясь достичь закраины ущелья и глотнуть немного сухого теплого воздуха, обогреть легкие, но вместе с тропой поднимались и скалы, каменные створки порою так плотно

стискивали голубую плоть неба, что его вообще не было видно. Вместо радующей глаз голубизны темнели мрачные тяжелые камни, прибывали людей, вызывая физическую боль, злое нытье в зубах, хрип и стоны.

– Ходжа Мухаммед, а ходжа Мухаммед! – свистящим усталым шепотом обратился к помощнику Абдуллы один из моджахедов⁷, юный Али, одетый в стеганный стариковский халат, увешанный оружием: молодых людей всегда тянет к оружию, они почему-то считают – чем больше на них нацеплено железа, тем они защищеннее. Впрочем, что опытному Мухаммеду объяснять азы розовогубому, похожему на женщину юнцу – сам все поймет. Нужно только время. Впрочем, юнец этот – уважительный, Мухаммеда ходжой – человеком, совершившим паломничество в святую Мекку, называет, – и это было приятно Мухаммеду.

Он молча обернулся к Али, приподнял насупленные черные брови, словно две большие шелковистые гусеницы, сросшиеся на переносице.

– Ходжа Мухаммед, долго нам еще идти?

Мухаммед отозвался глухо, будто в горле у него что-то застряло: голос уходил внутрь мощного жилистого тела, до Али донесся не голос, а некий отголосок внутреннего эха:

– Не знаю.

– А как называется кишлак, куда мы идем? Может, я сориентируюсь? В лицее я был примерным учеником, по географии имел высшую оценку.

Голос у Али дрогнул на секунду – Али хотел сказать, что был не просто примерным учеником в своем привилегированном лицее, а первым учеником, первый ученик – это самое почетное из всего, что может выпасть на долю того, кто учится. Есть первые ученики в классе, есть первые ученики в лицеях. Али ощущал помощь Аллаха и умел хватать науки на лету, поднялся в лицее на высшую ступеньку уже в шестом классе. Определяется первый ученик просто – суммируются все оценки года – по всем предметам, на всех уроках, когда бы они ни были получены – и подводится трехзначный итог. Совпадений почти не бывает: это крайне редкий случай, когда два ученика набирают один и тот же балл – сумма оценок ведь подходит под тысячу и как бы ни были одинаковы хорошие ученики, разница в три-четыре балла всегда есть.

Серые, с медовым отливом глаза Али оживленно блестели, этот паренек – выходец из богатой семьи, еще ни разу не участвовал в серьезной операции. Вообще-то Мухаммеду было интересно, как это мамаша могла выпустить теплолюбивое растение из своих горячих объятий на пронизывающий сквозняк, где даже привычные люди горбятся от холода и стучат зубами? Интересно, интересно...

– Много будешь знать – скоро пулю себе заработаешь, – обрезал Мухаммед юного воина, демонстративно поправил автомат на плече. Он хоть и не был так обвешан железом, как Али, грудь его не перекрещивали патронные ленты – не та красота, что у Али, а все-таки вооружен был лучше, чем любопытный моджахед: патронную ленту ему заменял лифчик, в которой была засунуты четыре автоматных рожка – рожки прикрывали грудь от пуль на манер бронежилета, в кармашки по бокам были засунуты гранаты, шесть лимонок. Все под руками, все наготове, всем в любую секунду можно воспользоваться.

Пистолета Мухаммед не носил, считал баловством, лишним грузом. Как-то он услышал, что десантные офицеры-шурави тоже не носят пистолетов, усмехнулся мрачно, в нем возникла некая далекая мысль: а ведь правы шурави! Если прижмет, капкан сработает и стальная скоба вопьется в горло, то пистолетом много не натешисься, выручит только автомат. И цены на рынке на пистолеты понизились: если раньше безотказный «макаров» стоил десять тысяч афгани, то сейчас только пять, а то и четыре. Другое дело – автомат. Раньше он стоил сорок

⁷ Моджахед – воин, борец за веру.

тысяч афгани, сейчас – выкладывай сто. Дукашники нос по ветру держат, чуть подует воздух, сразу по нему разворачиваются. Всем корпусом.

А обрезать юнцов время от времени надо. Чтоб чтители старших, знали свое место в рядах правоверных, вперед седых в бород не лезли, а учтиво склонялись перед ними. Иначе полезет поперек и наскочит на какого-нибудь шурави, такого же молодого, но не такого губастого: шурави в дукане мух не ловит – перепилит пухлогубого очередью из «калашникова», крутанет ему голову, проверяя, отошел ли правоверный в мир иной и – до свиданья! Гуд бай, так сказать.

– А все-таки, ходжа Мухаммед, не сердитесь на меня, скажите, как называется кишлак, куда мы идем?

– Не знаю, – с трудом протолкнул сквозь сжатые зубы Мухаммед, в нем возникло, всколыхнув сильное, находящееся в состоянии сжима тело, раздражение: вежливо-приторное обращение «ходжа» в этот раз на него не подействовало, вообще на Мухаммеда ничего не действовало, кроме приказов Абдуллы, и Мухаммед это знал. – Я тебя предупредил, парень. – Мухаммед запустил пальцы под ремень автомата, – больше предупреждать не буду.

Али понял, что дальше того, куда он зашел, заходить нельзя, поспешно придержал коня и отстал от Мухаммеда. Пристроился в хвост цепочки. Губы у него подрагивали – Али не умел сдерживать обиду, не научился еще, хотя знал: если тебе плюют в лицо, ты обязан улыбаться, никто не должен знать, что ты обижен, оскорблен – даже тени не должно упасть от тебя, это поможет обвести обидчика вокруг пальца и, когда он забудется, рассчитаться с ним.

Но нет, не дано пока Али справляться с самим собою, чем дальше – тем хуже: в горле у него что-то зажато пискнуло, образовалось тепло, вспухло пузырем, по капельке поползло вниз, потом по такой же капельке начало подниматься вверх, в ноздри – вот и первая слезная росина уже повисла на кончике носа Али. Совершенно машинально, не контролируя себя, он, как и Мухаммед, запустил пальцы под патронную ленту, подпернул ее, потом подпернул ремень карабина. Автомат моджахеду Али еще рано было выдавать, пока он должен поработать карабином, а когда откроет счет – выдадут автомат, новенький, в смазке.

Росина на носу увеличилась, потяжелела, стала щекотной, неудобной, но Али на нее не обращал внимания – ему было обидно, так обидно, что в темном ущелье сделалось еще темней – стало неуютно и совсем невпродых, будто ночью, в груди было пусто и горячо, он с ненавистью поглядел в затылок Мухаммеда, стремясь отыскать там какой-нибудь изъян – плешивость, потную раздвоину, женоподобные спекшиеся косички волос, льнущие к грязной шее, но ничего не увидел и почувствовал себя еще более горько – в конце концов он не собака, чтоб так с ним обращаться.

У него есть дом, отец, мать, два брата, земля, две машины – одна парадная, для показательных выездов, другая рабочая, на каждый день, девять дуканов, он может послать и Абдуллу, и Мухаммеда куда надо – во всяком случае не в рай, и они, если понадобится, на четвереньках приползут к нему. Халат будут целовать. Пыльные ботинки тоже будут целовать, все будут целовать! А если не захотят, он их заставит. Али всхлипнул и стер каплю с носа. Казалось, не было в мире в этот момент более обиженного человека, чем юный борец за веру.

Сердце обмирает от обиды и щенячьей тоски, кулаки сжимаются сами по себе – и мнится уже Али, что пальцы его крепко стиснули рукоять пистолета, ствол приставлен к продавленному костлявому виску Мухаммеда, еще мгновение, крохотный миг – и пуля вынесет мозг из прелой, будто поздний осенний арбуз головы – и он в конце концов может достать пистолет, что ему ничего не стоит, но не сейчас. Все это случится позже, потом, когда он, например, займет место темного безграмотного Абдуллы, или может даже чуть раньше, не в Абдулле дело, и не в Мухаммеде. Хотя за принесенное зло, за обиду надо обязательно расплачиваться. Слезами собственными, болью собственной. Собственной тоской и собственным смертным ужасом: каждому моджахеду когда-нибудь обязательно приснится, что он находится в могиле. Но пусть это будет во сне, не наяву. В конце концов Али всегда может вернуться домой, в Кабул,

его ждет отец, ждет мать – уж кто-кто, а они понимают сына лучше, чем кто бы то ни было и, вполне возможно, лучше, чем сам Али.

Он подумал, что лицо у него сделалось мокрым – капля, натекшая на кончик носа, расплылась по щекам и подбородку, по всему лицу, но лицо было сухим, кожа на щеках и подбородке холодной, гладкой – тоска Алла была непрочной, как сон в дозоре. Вроде бы и спит человек, обессиленно уронив голову, в последнем цепком движении обхватив ствол «бура», и в ту же пору не спит: тело его отмечает любое движение в округе, хотя окружающее, предметы его вроде бы утратились, слух засекает любой самый слабый шорох и уж точно засечет шаги такого кабана, как Мухаммед. Как бы сторожко и неслышимо он ни ступал по земле. Не только шаги засечет, а и дурное чесночное дыхание его, и крутой горький дух пота.

Немо зашевелил губами Али, вспоминая любимого Хафиза, и ему, всего минуту назад потерявшему себя – осталась лишь одна память, призрачная оболочка того, чем он был когда-то, все истаяло, ушло в виденья, – удалось вновь найти себя: Али обрел плоть, лицо украсила неуверенная улыбка, в светлых медовых глазах затеплилась жизнь.

– «Вероломство осенило каждый дом, не осталось больше верности ни в ком, – прочитал он четко, в такт ударам копыт, получилась некая музыка, приятно подействовавшая на утомленный слух, – пред ничтожеством, как нищий, распростерт человек, богатый сердцем и умом. Ни на миг не отдыхает от скорбей даже тот, кого достойнейшим зовем, сладко дышится невежде одному: за товар его все платят серебром...» нет, не то, – проговорил он с неожиданной досадой, – ничего высокого, сплошная земля, серость, камень, лягушки. Надо что-нибудь возвышенное, радостное. «Будь же радостен и помни, мой Хафиз: прежде сгинешь ты – прославишься потом! – Али задумался, повторил про себя: – Прежде сгинешь ты – прославишься потом... Прежде сгинешь ты – прославиться потом...»

– Ты чего там колдуешь? – спросил Файзулла, едущий на коне следом за Али – конь Файзулле достался с брачком, с пробоиной в боку, все время сипел. Нет, действительно конь достался с дыркой, из него каждую минуту, как из проколотой шины, вырывался воздух. Файзулла был одногодком Али, только другого роду-племени: отец Али, например, никогда бы не принял в свой круг отца Файзуллы. И Али не принял бы. Но вступив в моджахеды, Файзулла сравнялся с ним. – А, Али? Бормочешь и бормочешь что-то, будто у Аллаха сахара просишь. Ты попроси лучше у Абдуллы.

– Хафиза вспоминаю, – проговорил Али сконфуженно, стегнул коня камчою, конь всхрапнул, вскинулся, вырываясь вперед, лягнул по-собачьи зубами, хватая воздух, и тут же осекся, присел на задние ноги – конь так же устал, как и люди. – Газели Хафиза. Да вот только вспоминается все время что-нибудь не то.

– На возвышенное потянуло? – рассмеялся Файзулла.

– Ну и что?

– Поешь вяленого мяса – пройдет.

– «Пусть вечно с сердцем дружит рок, – и большего не надо. Повей, ширазский ветерок, – и большего не надо! Дервиш, вовек не покидай своей любви обитель. Есть в келье тихий уголок – и большего не надо!»

– Слушай, Али, если кусок мяса не поможет, тогда уже ничто не поможет, даже святылище Кааба⁸.

Абдулла, шедший первым на белом, хорошей породе коне – это была чистокровка, Абдулла взял себе коня, чтобы продать, – стремительно-ловким, почти неуловимым движением выдернул из кобуры свой «стар» и вскинул над головой.

– Если кто-то хочет получать гостинец из ствола – может продолжать разговор, – прокричал он.

⁸ Храм Кааба в Мекке – святое место мусульман.

Файзулла умолк мгновенно, будто поперхнулся, сырое чавканье копыт сделалось глуше – Абдулла слов на ветер не бросал. Конь под Абдуллой фыркнул надсаженно, в сторону полетел розовый сгусток пены, Абдулла стукнул коня рукоятью пистолета между ушей. Конь охнул, словно человек, и тогда Абдулла сделал знак рукой, останавливая всадников. Вытянулся на сиденьи. Всем почудилось, что сверху, откуда не должен бы накатывать холод – там все выжарено солнцем, там тепло, камни от пекла сделались хрупкими, будто стекло, – накатило что-то ледяное, жалищее, порыв был стремительным, недобрый. Люди невольно поежились в седлах – ощутили опасность.

Где она, опасность, откуда, с какого замшелого выступа смотрит на них? Что там? Ствол пулемета? А может, вслед за ветром на них повалятся гранаты, посекут, порубят, превращая в фарш тела в этой казенной теснине? Али стремительно вскинул голову, увидел далекую, пронзительно-светлую щемящую полосу неба, такую далекую, что у него чуть не оборвалось сердце, нырнуло куда-то вниз, в пояс, он просел на старом седле, стремясь не выпустить сердца, накрыть его грудной клеткой, едва слышно охнул.

Его потянуло наверх, на простор, на ветер, к солнцу, он сжался в своем просторном теплом халате, будто в раковине, преодолевая смутное отвращение к тому, что может произойти, страх и дрожь, и одновременно – жестокое желание оторваться от этих людей, очутиться на просторе, – чуть было не заскулил от слабости и чего-то тошнотного, чужого, возникшего у него в горле. Абдулла снова сделал знак рукой. Из цепочки выдвинулся Мухаммед.

– Мухаммед, конь спотыкается и не хочет идти, – сказал Абдулла, держа пистолет в руке стволом вверх. Палец его замер на спусковой собачке. – Чего бы это значило?

– Считаете, что плохая примета, муалим?

– Я чую опасность, Мухаммед. Ты ее чувствуешь?

– Не очень, – немного помедлив, признался Мухаммед. Ему не хотелось, чтобы его мнение расходилось с мнением Абдуллы: у них всегда должна быть одна точка зрения. Одна на двоих, общая.

– А что ты думаешь, Мухаммед?

– Думаю, что все обойдется.

Абдулла кивнул помощнику, отпуская его, сдернул с голой головы тюрбан – заранее спеленутую, скрепленную нитками нарядную чалму, обмахнулся словно веером, несмотря на то что в ущелье было холодно, по лицу его тек пот.

– Конь и жена одинаково любят плетку, – проговорил он, поднимая камчу, и вдруг услышал голос, донесшийся из каменной расщелины:

– Постой, Абдулла, не бей коня!

Абдулла мгновенно прижался к лошадиной холке, срастаясь с конем и молниеносно выкинув руку в сторону голоса, выстрелил на звук. Пуля отколола кусок камня и с вибрирующим шмелиным гулом ушла вверх. Из расщелины послышалось укоризненное:

– Зачем же так, Абдулла? Я же не враг тебе, я – друг!

Никак не отзываясь на эти слова, Абдулла снова выстрелил – вторая пуля также отколола кусок камня, обдала людей твердой крошкой, колюче посекающей щеки, увязла в чем-то клейком, липучем, словно смола. «Мумиё! – мелькнуло в голове у Абдуллы совсем не к месту. – Свежее мумиё, кровь земли. Тьфу, и тут кровь!» О том же самом подумал и опытный Мухаммед.

– Абдулла, я ведь тоже умею стрелять, – раздался спокойный, чуть насмешливый голос, – незнакомец не испугался Абдуллы, он был настоящим моджахедом, возможно, даже повыше классом, чем Абдулла. – Видишь, на карнизе птичка сидит?

Абдулла оторвался от холки коня, выпрямился и с достоинством надел на голову чалму. Пистолет, из которого жидкой сизой струйкой вытекал дымок, задвинул в кобуру. На краю щемяще светлой далекой полосы сидела небольшая птица. Она была неподвижной, словно камень, и ее действительно можно было принять за камень, но по очертаниям – остро взьеро-

шенному венчику на голове, аккуратно выточенной сильной груди, удлинённому изящному хвосту и крепкому, загнутому книзу клюву можно было понять, что это птица. Камень, конечно, мог напоминать птицу, но у камня никогда не будет той завершенности в линиях, той тонкости, что имеет совершенная натура. Абдулла проговорил тем же спокойным и насмешливым тоном, что и незнакомец, находившийся в расщелине:

– Вижу птицу! Что дальше?

– Держи, Абдулла, подарок!

За камнями щелкнул негромкий выстрел – вроде бы сам по себе щелкнул – человека за камнями похоже и не было, птица вздрогнула и тряпичным мертвым кульком свалилась с закраины. Упала прямо под ноги коню Абдуллы. Абдулла медленно поднял ладони, негромко похлопал:

– Bravo! Откуда знаешь меня?

– Надо ли еще доказывать, Абдулла, что тебя все знают?

– Не надо. Не боишься, что я велю изловить тебя?

– Твои люди не поймут меня, Абдулла! Я уйду от вас. Твои люди даже не увидят, кого ловят.

Повернув голову, Абдулла встретился с настороженно-угрюмым взглядом Мухаммеда; помощник, без слов поняв, что от него хочет Абдулла, отрицательно покачал головой.

– Это почему же? – спросил Абдулла у незнакомца.

– Потому что я знаю горы лучше твоих людей.

– Уж не кафир ли ты?

– Не оскорбляй друзей, Абдулла!

– Тогда зачем меня остановил?

– С одной лишь целью, не ходи дальше, Абдулла, тропа заминирована.

– Мины? Чего ж сам не снял их?

– Умел бы – снял. Не умею, к сожалению.

– Вступишь в отряд моджахедов – научишься. Вступай ко мне в отряд!

– Ты вначале разминируй тропу, Абдулла, а потом поговорим.

К Абдулле неслышно приблизился Мухаммед, он просто подался к нему, почти не трогаясь с места и произнес тихо:

– Муалим, может быть, ловушка.

– Нет, Мухаммед. Нет тут никакой ловушки. Тут действительно стоят мины, обычные противопехотные мины.

– Несколько противопехотных и один фугас, – донеслось из-за камня, – с фугасом поосторожнее – скомбинирован с противопехотной.

– Ты-то откуда это знаешь? – выкрикнул Абдулла. – Ты же ничего не смыслишь в минном деле.

– То, что я не умею снимать мины, вовсе не означает, что я не умею разбираться в них.

Факт, что на тропе стояла фугасная – специально усиленная – мина в паре с противопехотной, означал, что врыта в землю она была не шурави, а своими же моджахедами. Шурави такие ловушки не любят; Абдулла снова сдернул с головы чалму, обмахнулся ею, гладкое лысое темя было блестящим от пота. Поежился Абдулла, одно плечо его приподнялось, застыло, фигура сделалась ревматической, больной – со спины Абдулла казался старым, сильно поношенным, а ведь ему было немногим более тридцати. Тридцать лет – много это или мало? Тот, кто не знает ответа на этот вопрос – не ответит, тот, кто знает – тоже не ответит. Ответов одинаковых почти нет, сколько людей, столько и ответов. А можно ли в тридцать лет обрести мудрость?

– Кто поставил мины, незнакомец?

– Не знаю!

Абдулла подал короткий знак – гребком ладони накрыл воздух и, оттопырив большой палец, сдвинул его вниз, в ту же секунду, отзываясь на знак, с лошади, несмотря на неуклюжесть и одеревенение после езды ноги, проворно слетел Мухаммед, следом с коней соскочили еще двое людей в халатах и зеленых чалмах. Мусульмане, мусульмане, за что же вы обожаете зеленый цвет, чем он вас приворожил? Не он ли заставляет вести эту войну? Саперы были на одно лицо, будто братья, легкие, почти невесомые в движениях, как птицы, с проворными руками; отзываясь на них, с лошадей прыгнули еще двое, неразговорчивые, с загорелыми до печеной коричневы лицами – телохранители саперов.

У душманов есть дефицитные профессии, людей с «дефицитными профессиями» обязательно охраняют. Дефицитники – это пулеметчики, стрелки «эресов», саперы. Они, как и руководители групп, ходят с сопровождением.

Фугас вытащили из каменной, засыпанной крошкой и притрушенной сверху обрывками мха ямы довольно быстро – это была крупная итальянская мина, привязанная к неразорвавшемуся снаряду и еще соединенная с противопехотной. Противопехотные мины вытаскивать не стали – противопехотки вообще не вытаскивают. Противопехотки, небольшие, круглые, очень чувствительные, с мягкой резиновой либо пластиковой пяткой, подрывают. Слишком уж они нежные – одно неловкое движение, один неверный вздох – и в воздух взметывается слепящий костерный сноп; искры, словно бы заигравшись, долго парят в воздухе, переливаются, перепрыгивают шаловливо с места на место, да еще в выси летают, будто птицы, то складываясь, то распрямляясь, тряпки, содранные с человека, наступившего на мину.

– Оттянитесь назад, все назад! – грубовато потребовали саперы от людей Абдуллы: они знали себе цену и особо не церемонились. – Все назад! – отправили под прикрытие огромного каменного зуба, несмотря на немые возражения и грозно-красноречивые взгляды своих телохранителей. – И вы, муалим, будьте добры, назад, – потребовали саперы от Абдуллы – голоса у них были такими, что не поспоришь, требовательными, хриплыми, какими-то вороньими. – Назад, муалим! И вообще вам, муалим, не впереди отряда надо двигаться, а в середине!

– Может, мне вообще двигаться сзади? – не выдержал Абдулла, сжал глаза в узкие, опасно стреляющее черным огнем щели. – Там, где обычно ходят верблюды и ослы с поклажей?

Саперы не приняли игры Абдуллы – да и не игра это была вовсе, – но то, что было страшно для рядового моджахеда, не было страшно для саперов. С рядового Абдулла запросто может содрать кожу и оттяпать не то что пальцы, как несчастным школярам – оттяпать целую руку, а саперов не тронет, даже более – обидится, заскрипит зубами, а пыль с их халатов сдует – потому саперы и пропустили слова Абдуллы мимо.

– Двигаться сзади тоже не надо, муалим, двигаться нужно в середине.

– Чтобы при случае оказаться в куче и погибнуть под копытами собственных лошадей. Хороший удел для вождя.

– В атаке и в походе вождь всегда должен быть в середине, муалим!

– Откуда знаете, саперы, где должен быть вождь в атаке? – Абдулла усмехнулся и положил руку на кобуру.

– В Кабуле фильм видели, шурави показывали. Очень хороший фильм, про человека в каракулевой шапке. Там все сказано про вождя.

– Советский фильм. – Лицо у Абдуллы обузилось, глаза начали светлеть – тревожный признак. Оспины на лице тоже начали светлеть. – Эх, неверные! – произнес Абдулла горько.

– То, что у неверных хорошо, – надо присматривать, а вдруг пригодится? – заявили саперы дружно. Хоть по документам они и не были братьями, а вели себя, как братья, один чувствовал другого, будто брат – любое движение ловил, любой звук и позыв, – все будто бы обнаженной кожей ощущал, и всегда оказывался рядом, чтобы поддержать. И одеты оба одинаково, словно в одном дукане отоваривались.

– Зачем отказываться от хорошего? Шурави – не дураки, кое-что тоже умеют.

– Но гораздо хуже, чем мы, – произнес Абдулла.

– Совершенно верно, муалим!

Саперы знали, что говорили: они учились в Пакистане, в одном из лагерей, хорошо учились, отметки у них были лучше, чем у других, среди учебников у них имелось немало советских книг. Абдулла об этом не знает, и хорошо, что не знает – все знать ему не обязательно. Курсанты в лагерях изучают историю партизанского движения в Белоруссии, историю басмачества и борьбы с ним – все повторяется, все возвращается на круги своя, то, что было обобщено в Советах, нашло применение сейчас, у душманов. Изучаются уставы Советской армии, оружейные учебники и азы политико-воспитательной работы. Когда войдешь в класс, то не сразу определишь, где ты, правоверный, – в Казани, в каком-нибудь учебном полку, либо в Парачинаре, среди старательных моджахедов?

Развернув коня, Абдулла поднял его на дыбки и скрылся за каменным зубом.

– Муалим, саперы правы, – проговорил Мухаммед, почти не разжимая рта, – вам надо беречь себя.

– Если я буду беречь себя, люди посчитают, что я боюсь. А я не боюсь, ничего не боюсь, Мухаммед!

– Смерть, муалим, одинакова до всех, и к храбрым, и к трусливым. Она не выбирает.

– Зато выбирает, куда поставить свою метку: храбрым ставит спереди, трусливым сзади.

Прогремел взрыв, оба даже не оглянулись на него, продолжали разговор – мрачный, из которого трудно выдавить слово, всегда погруженной в себя Мухаммед и быстроглазый, легко поддерживающий всякий разговор, ничего не пропускающий мимо Абдулла. Они были очень разными людьми, Абдулла и Мухаммед, и тем, кто смотрел на них со стороны, было непонятно, что же их объединяет. Деньги? Деньги имели все люди Абдуллы, и все они были разными. Вера? Все люди Абдуллы готовы были положить жизнь за Аллаха. Революция? Но они боролись против революции. Тогда что же?

Прогремел еще один взрыв – саперы работали методично, рвали мины поочередно, не все сразу, в горах это опасно, рвать все сразу, сверху, с закраины может сверзнуться камень, оставить от людей одну лишь мокреть, может накатиться селя, скалы могут дрогнуть и сомкнуться, размолоть, сжевать в своем холодном гранитном желудке все, что окажется между стенками. Мин было много, около десятка, саперы в халатах рвали их методично, спокойно, одну за одной – это была их работа, они получали гонорар за каждую подорванную мину, Абдулла же получал за другое.

Шло время. Люди Абдуллы отдыхали, и сам он отдыхал – вроде бы час назад никуда и не торопился, не гнал лошадей, – лицо его обмякло, потеряло жесткий абрис, оспины распустились, тоже обмякли, глаза обрели блеск, стали ласковыми. Абдулла и не Абдулла это был вовсе: Мухаммед находился при нем, не отходил ни на шаг – они все время были вдвоем, Абдулла и Мухаммед. Наконец один из саперов прокричал:

– Можно!

Абдулла птицей, прямо с камня взлетел в седло:

– Вперед, правоверные!

Конь стремительно вынес его из-за камня, будто, как и седок, имел крылья.

– Мухаммед! – Абдулла ткнул камчой в каменную расщелину. – Как ты думаешь, этот еще здесь?

– Думаю, что нет. Ушел пещерой, кяризом или каменным ходом, муалим. Чего ему тут быть? Пироксилиновую вонь глотать?

– Эй! – вскрикнул Абдулла зычно, крик с дробным стуком покатился по камням, ссыпался с одного выступа на другой – звуки в горах обладают таинственной силой, что-то неземное двигает ими – они то возникают, то пропадают, там, где звук не должен бы жить, он живет, растет, а там, где имеются все условия для жизни, неожиданно умирает.

– Я здесь, Абдулла! – слышался спокойный голос. – Спасибо, что обезвредил мины – теперь и я могу пройти спокойно. Низко кланяюсь тебе, Абдулла!

– Примидай ко мне, незнакомец!

– Нет, Абдулла. Мне одному лучше. У меня свой счет с неверными.

– Когда один – много не набьешь. У тебя автомат есть?

– Автомата нет, но будет. У меня бур.

– Выходи, я дам тебе «калашников».

– С буром тоже жить можно, Абдулла.

– Гранаты у тебя есть?

– Нет, Абдулла, я говорю – у меня бур.

– Пошли со мной, и дам тебе гранату.

– Спасибо, Абдулла, мне хватит бура.

– Знатным воином станешь!

– Что слава, Абдулла, она проходит так же быстро, как и жизнь: что есть она, что нет ее.

– У тебя деньги есть?

– Никто из мусульман никогда не говорит, Абдулла, что у него есть деньги, зачем спрашиваешь?

– Я дам тебе денег!

Незнакомец помолчал немного, затем заинтересованно, с неожиданной хрипотцой – Абдулла, знаток душ, хороший ловец, знал, чем можно зацепить человека – а зацепить надо было, поскольку человек этот был воином – и стрелок отменный, и выдержку солдатскую имеет – настоящий мусульманин, мужчина! – спросил:

– Сколько?

– У тебя мешок есть?

– Есть. С порохом.

– Вот столько и получишь. Порох высыпем, деньги насыпем.

– Если купюры по тысяче афгани – много понадобится.

– Купюры по тысяче афгани только в Кабуле, в музее хранятся – напоказ выставлены. Чего ослы смотрят на бумагу – не знаю, ведь ее отпечатать сколько угодно можно, договоримся так: половину старыми купюрами, сотенными, даудовскими, половину десятками. По рукам?

– По рукам! – Из-за камня показался молодой, одетый в пятнистую солдатскую куртку человек, в небольшом плотном тюрбане. Куртка была подпоясана новеньким, еще нигде не поцарапанным офицерским ремнем, к ремню приторочен старый, потерявший форму подсумок с патронами. Лицо у парня было обветренным, красноватым, кожа на скулах шелушилась, губы запеклись и растрескались по углам. На голове у него высился небольшой плотный тюрбан.

– Значит, за деньги идешь работать, не за идею. – Абдулла хмыкнул, с интересом оглядел парня.

– Что мне идея? На идею хлеба не купишь и масла с сахаром не купишь.

– У нас идея совмещается с деньгами.

– В таком случае у меня тоже совмещается, Абдулла!

– Мои люди зовут меня муалимом.

– Как скажешь. И я буду звать тебя муалимом, – произнес парень.

– Где взял куртку?

– Одолжил у незнакомого офицера Народной армии Афганистана.

– Навсегда, надо полагать?

– Навсегда!

– А ремень? – Абдулла щупал этого парня так, как хозяйка щупает курицу-несушку, стараясь угадать, будет ли яйцо или нет, а если будет, то не утащит ли его хохлатка на сто-

рону? Вроде бы и простые вопросы были, ничего не значащее – ответы давать на них легко, но не ответы интересовали Абдулла, не слова, а то, что за словами этими крылось – интонация, жесты, реакция глаз, то, как поведут себя руки, пальцы будут суетливы либо наоборот – спокойны: есть тысяча вещей куда более важных, чем слова. Слова могут обмануть, а внешние приметы никогда не обманут. Абдулла знал язык, какой не знал никто из его людей. Хлопнул камчой по сапогу, сощурился: – Ремень тоже у какого-нибудь майора афганской армии одолжил? – спросил Абдулла.

– Точно, у майора! Откуда знаешь, муалим? – у парня на лице возникла улыбка.

– Меня все зовут на «вы».

– Слушаюсь, муалим! – Парень склонил голову – в нем было что-то притягивающее, мягкое, надежное. Али поймал себя на мысли, что с таким парнем неплохо бы подружиться. Парень из тех, что не подводят, вытащат из-под огня, если будешь ранен, поделятся последним глотком воды в пустыне и последней спичкой в холодную ночь. – Ремень я позаимствовал у другого майора – у шурави.

– Тоже навсегда взял?

– Естественно, муалим.

– Садись на коня! – скомандовал Абдулла, ткнул камчой назад. Попал точно в Али. – Лишних коней у меня нет, садись пока с ним. Потом разберемся! – Хлестнул своего чистокровного, перепрыгнул через широкую строенную воронку, оставшуюся после мин, и по узкой каменной тропе поскакал по ущелью вверх.

Абдулла мало кому говорил куда идет, куда ведет с собою людей – все зависело от степени доверия, задачу свою он выполнял аккуратно, с некой щепетильностью человека, привыкшего, что ему не очень верят, а он решил достичь безукоснительного доверия и все делает для этого: Абдулла должен был сеять страх в кишлаках, жечь, убивать, насильничать, вешать, отрубать руки, забивать людей палками насмерть, выпрастывать животы, охладивать мужчин, отрезать груди непокорным женщинам, снявшим чадру, – делать все, чтобы афганцы знали: такое произойдет и с ними, если они встанут на сторону Кабула – знали чтобы и боялись... А в остальном Абдулла был волен. Был волен и в выборе маршрута.

– Слушай, спроси у этого парня, как его зовут? – крикнул он на скаку Мухаммеду.

– Его зовут Фатехом, муалим!

К вечеру группа Абдуллы была в кишлаке. Али никогда еще не видел таких кишлаков – не кишлак, а ласточкино гнездо, дом стоит на доме, следом стоит еще дом, потом чуть в сторону, смыкаясь порогом своим с крышей жилища, находящегося внизу, еще один, третий, рядом, притулясь к боковине мрачной черной скалы гнездится четвертой дом, наотступь от него в другую уже сторону – дом пятый, за ним следующий, шестой – и так до отметки, на которой уже летают орлы, вороны и горлицы на эту высоту не поднимаются.

Казалось, здесь, в этом кишлаке, кончается мир – дальше уже ничего нет, тупик: дома завязаны в один корявый, в наростах и липкой пене облаков узел, дальше – мертвая зона, где никто не живет и ничего не растет, потом обрыв и все – конец земли! Эта уединенность кишлака вызвала ощущение скорби, некой отрешенности от всего, что творилось в мире, хотелось сдернуть с себя халат, сдернуть патронную ленту, чтобы не мешала дыханию и поклониться кишлаку!

У Али даже губы задрожали по-детски, когда он обследовал этот маленький каменный мир, который, похоже, совсем не был населен: ни людей, ни животных. Но люди тут жили, на узких казенных грядах, отвоеванных у скал, они выращивали хлеб и картошку, умудрялась пасти овец.

– Как же они тут существуют? – вырвалось у Али изумление: ведь земли же здесь ни грамма, ни наперстка, ни ноготка.

– Так и живут, – отозвался Фатех на восклицание юного моджахеда, – учись, Али, у этих людей умению брать у камня все необходимое.

– Но где же люди? Людей-то нет.

– Люди есть. Просто попрятались, увидя нас, увидя оружие. Оружия ныне опасаются все, даже самые мужественные. Ты-то чего взялся за карабин, Али? Нужда заставила?

– Нет, Фатех, не нужда. Я борюсь за идею. Еще в лицее увлекся.

– Скажите на милость, – покачал головой Фатех. – Какая же это идея, Али? Клич, пришедший к нам из Ирана «Ислам в опасности!»?

– Идея создания свободной исламской республики. Без шурави, без американцев, без коммунистов, без Бабрака и без короля Дауда. Афганцев, Фатех, победить нельзя. Англичане дважды пробовали и дважды остались с носом.

– Слышал об этом. Только я знаю и других своих земляков, которое так не любят американцев, так не любят, что готовы пить их мочу. При упоминании об Америке рот у них раздвигается в улыбке от уха до уха – не только зубы и язык видны, но и то, что за зубами.

Зло сказал Фатех. Может быть, и не надо было так говорить? Ведь Али – человек для него незнакомый. Али, в свою очередь, подумал: а не проверяет ли его Фатех? Улыбнулся широко:

– А я знаю афганцев, которые готовы пить мочу шурави.

– Такие, Али, тоже есть. Что делать – мир построен на перекосах. У тебя мать жива?

– Жива! Жива, слала Аллаху! Знаешь, Фатех, я ее сегодня ночью видел во сне.

– Значит, тянет домой. – Фатех покосился на Али, отметил, что и халат на нем новый, и из ленты еще не выковырнуто ни одного патрона, и карабин в деле не опробован – опробован только в глухом углу, ради баловства, стрельбой по консервной банке; щеки у парня матовые, лицо изнеженное, глаза с влажным блеском: сам себе героем мнится Али, защитником правоверных, и в ту же пору этому пареньку жаль себя – оставил дом, оставил тепло, уют, обеспеченность, пустился во все тяжкие... зачем? Завтра собьет себе ноги, стешет кожу на руках, ушибется о камни – глядишь, еще более пожалеет о том, что ушел из дома, закиснет, глаза из влажных превратятся в обычные мокрые. – Кочевая жизнь тому, кто к ней не привык, никогда не заменит дома.

– А я хочу привыкнуть к кочевой жизни, – тихо чуть дрогнувшим голосом проговорил Али, – мне надоела другая жизнь.

– Ну как знаешь, Али, – миролюбиво произнес Фатех, – не мне командовать тобою, у тебя своя голова на плечах. Только... – Фатех поднял руку, сложил пальцы в одну большую щепоть, будто пробовал ими воздух, жесткое лицо его сделалось еще более жестким – Фатех знал нечто такое, чего не знал Али и собирался об этом сказать Али, но колебался, сквозь жесткость прорезалось что-то нерешительное, застенчивое – Али увидел это по глазам Фатеха.

– Что «только»? – спросил Али. Выругал себя: ему надо бы поделикатнее давить на педаль, не любопытствовать надо, а... а он переступил черту – уже переступил, хотя воспитанный человек не переступает ее никогда.

– У жизни, Али, есть свой цвет. Как у неба, как у гор, как у солнца. – Фатех неожиданно улыбнулся. Тихо улыбнулся. Чем-то он был непохож на людей Абдуллы, он был такой же, как и все, и не такой. А вот чем не похож, почему не такой – Али пока не мог понять.

– Для настоящего мусульманина существует лишь один цвет – зеленый.

– Есть и другие цвета, Али. Есть черный, желтый, белый, красный, есть цвет собаки, есть цвет мыши, есть цвет скорпиона, есть цвет друга, есть цвет врага. – Фатех умел интересно говорить, умел мыслить, не то что другие, с кем ни поговоришь – это другие: очень скоро уткнешься в дувал, в котором ничего, кроме глиняных залепух, интересного нет: выковырины, заплатки, подтеки, мелкая галька, угодившая в глину. Тем для разговоров нет, одна-две и все: деньги, бабы, и подпольно – водка, виски. Вслух, на всех про водку нельзя, поскольку все правоверные, а Коран, как известно, запрещает пить.

– Цвет скорпиона и цвет друга... – повторил за Фатехом Али. – Впервые о таком слышу. У нас в лицее много было умных голов, ребята знали поэзию, знали прошлое, историю и философию, но оригинально мыслили единицы.

Они стояли на небольшой каменной плешке, по кругу огороженной валунами – видать, плешку огородили специально, как место кишлачного сбора, чтобы можно было спокойно посидеть, поговорить, выкурить по сигарете или побаловаться кальяном, хотя кальян курить люди предпочитают в домах, не на виду: в этом занятии много интимного...

Усталый конь Али, опустив голову, побрякивал уздечкой, пытался вырвать повод из рук хозяина, но тот ему не давал, конь обиженно фыркал, скреб ободраным копытом по камням, снова пытался вырвать старый, сплетенный из двух сыромятных ремней повод, всхрапывал.

– Дар, которому можно научиться, – улыбнулся Фатех, оглянулся на стук копыт.

На площадку взнесся Абдулла, следом, ни на шаг не отрываясь, Мухаммед. Белый конь под Абдуллой потемнел – шкура пропиталась потом, грязью, губы были окровавлены – Абдулла не шадил коня.

– Фатех! – выкрикнул Абдулла звонко, ткнул камчой в воздух. – За мною, Фатех, великолепный стрелок! Я теперь тебя буду так звать: Фатех – великолепный стрелок. И ты давай, – крикнул он Али, – тоже давай за мною! Лошадь передай Фатеху, она ему нужнее. Ну!

– Нельзя так, муалим! – Фатех выступил вперед: он увидел побледневшее лицо Али. – Нельзя, чтобы один на лошади верхом, а другой в поводу, как собака. Это не по-мусульмански.

– Мои приказы не обсуждаются, Фатех. – Абдулла приподнялся в седле от удивления, Мухаммед мигом сдернул с плеча автомат, встретился взглядом с Фатехом – взгляд Мухаммеда был сумрачным и решительным: Мухаммед не станет задумываться, перережет очередью любого от ключиц до ягодиц, был бы только приказ. – Отставать, Мухаммед! – выкрикнул Абдулла. – Он прав! Эти два человека уже подружились, что очень похвально. Как известно, лучший способ сохранить друга – не давать его в обиду. А потом мне нравится, когда мои люди дружат. – Абдулла поднял своего, усталого коня на дыбки, бесстрастное оспанное лицо его вдруг озарилось улыбкой, в мрачном свете угасающего дня блеснули зубы: Абдулла обладал способностью проникать в чужие мысли, безграмотный, он был ловчее и мудрее иного грамотного, имеющего диплом об образовании, и Али за это обожал Абдулла. Вон как хорошо и точно он сказал: «Лучший способ сохранить друга – не давать его в обиду». Али улыбнулся: он простил Абдулле то, что тот хотел лишить его коня, – в конце концов Абдулла действовал в интересах дела.

– За мной! – скомандовал Абдулла, нырнул вместе с конем в узкий и длинный, на удивление ровный проулок, никак своей протянутостью и ровнотой не соответствующий сложному лепному кишлаку. Мухаммед, словно привязанный, метнулся следом, Али и Фатеху оставалось только прикрыть этот маленький отряд.

Слева и справа неслись глухие каменные дувалы – ни одной щелочки, ни одного оконца, каждый дувал – будто крепостная стена, призванная скрывать грех и тайны, одна крепостная стена кончается – начинается другая. Хоть и длинный был проулок, а скакали недолго – проулок кончался, вверх, в скалы, от него уходила порожистая скользкая тропа. Абдулла направил было туда коня, но конь заупрямился – скотина умная, понимает, что тут не только конь, тут и человек черепушку себе сломает, – захрипел, задирая голову вверх, поджал по-собачьи уши, оскалился. Абдулла стегнул его камчой – не подействовало.

– Пристрелить бы тебя, вероотступник, – проговорил он, соскочив с седла. – А ведь точно пристрелю!

«Не надо!» – губы у Али дрогнули.

Абдулла этот немой крик не услышал, но почувствовал, стремительно обернулся к Али. Ткнул черенком камчи.

– Что, коня жалеешь?

Али хотел было сказать, что жалеет, но вместо этого отрицательно мотнул головой и готовно выкрикнул:

– Нет, муалим! – Он знал, какой ответ понравится Абдулле.

– Молодец! – одобрил Абдулла. – Мне по душе твоя твердость. Считаю, что я заметил тебя. За мной! – Он спрыгнул с коня, щелкнул камчой по сапогу и устремился вверх по тропе, ловко перебираясь с одного камня на другой.

Али заметил, что Абдулла никакого оружия, кроме пистолета, не носит – только свой изящный «стар», это было непонятно Али: была б его воля, он и автомат бы носил, и гранаты, и запасные рожки в лифчике, как Мухаммед, а поверх всего – командирский ремень с португеей. Но вкусы расходятся – то, что любо Али и, возможно, любо Фатеху, совсем не любо Абдулле.

Шли недолго – до каменного дувала, вросшего своим боком в мрачную, в рыжих лишаях скалу, по дувалу свернули вправо и уперлись в ворота с хорошо смазанными медными петлями. Хозяин тут жил справный – чувствовалось по воротам. Если ворота хлипкие, в щелях, скрипят сиротски, жалуются прохожим на свою судьбину, петли ржавые, съеденные водой и ветром, – то, значит, хозяин усадьбы такой, ржавый, съеденный жизнью. С дырками в кошельке, в карманах, со свистом в голове: как подует ветер – так обязательно засвистит. Ну а если ворота справные, то и хозяин справный. В дувал были врезаны не просто справные ворота, а богатые – и петли из красной начищенной меди, и суставы переплета украшены коваными розами, все смазано, щелей нет, ничто не скрипит. Абдулла ударил сапогом по воротам.

– Хозяин, открывай! – Поднял камчу, предупреждая, чтобы сопровождение затихло, прислушался, мертво было в доме, тихо. – Хо-зья-ин! Долго тебя ждать? – Абдулла повернулся к воротам спиной и несколько раз ударил по дереву каблуком сапога. – Сейчас ворота гранатой подниму на воздух. – Глаза его начали светлеть, ноздри сжались, уменьшились, стали совсем крохотными. – Небось полный халат наложил от страха, жена уже лопатой выгребает. Вот ходячий мочевого пузыря! Мухаммед, гранату!

Проворно расстегнув пуговку на одном из кармашков лифчика, Мухаммед запустил в нутро руку, ухватил пальцами рубчатое тело гранаты.

– Одну минуту, муалим, – поднял руку Фатех. – Хозяин идет.

– Ну и слух у тебя! – недовольно пробурчал Абдулла.

Ворота раскрылись бесшумно, на пороге появился хозяин в длинной белой рубахе, таких же брюках, схваченных у щиколотки штрипками, молча поклонился Абдулле.

– Зовешь в гости, значит? – усмехнулся Абдулла. – А чего раньше не звал?

Хозяин выпрямился, коротко глянул Абдулле в лицо – взгляд был открытый, глаза не замутнены страхом, снова поклонился и проговорил глухо, бесцветным ровным голосом:

– Раньше времена были другие, Абдулла!

– Значит, признал меня?

– Признал, Абдулла. Как не признать друга юности?

– Ну, в юности, допустим, ты не очень жаловал меня.

– Как знать, как знать, Абдулла, – уклончиво ответил хозяин, оглядел вооруженное сопровождение Абдуллы, задержал взгляд на Али, что-то печальное, далекое мелькнуло у него на лице, в глазах возник горький свет, возник и погас – Али понял, что хозяин жалеет его, хотел опустить голову, извиниться за невольное вторжение, но сообразил, что извиняться должен не он, и как стоял, так и продолжал стоять – развернув грудь, чуть наклонив голову в упрямом движении, одну ногу выдвинув вперед, будто для броска.

– Зови в дом, Султан! – сказал Абдулла. – В воротах дела не решаются.

Хозяин молча посторонился, пропуская гостей, запер ворота.

– Боишься? – Абдулла бросил настороженный взгляд на тяжелый, ручнойковки запер, которой под рукой хозяина беззвучно продвинулся на всю ширину ворот. – Боишься, Султан, что тебя украдут?

- А кто меня должен украсть, Абдулла?
- Да хотя бы я, Султан.
- Нет, не боюсь. С тобой, Абдулла, мы сговоримся.

При лилово-желтом угасающем свете вечера двор был печален и пуст, и одновременно необычен – необычен своей планировкой, удлинённостью, тем, что упирался одним концом в скалу, и это вызывало ощущение, что двор вот-вот отвалится от огромной каменной глыбы, он держался на ниточке, но пока не отваливался. Пустота тоже бросалась в глаза, вызывала сложное чувство потери и некоей утраты, столь неизбежной в брэнном мире – многие вещи неизбежны! – вечером двор должен быть забит скотом, но двор Султана был пуст.

- Где же твои овцы, Султан? – не выдержал Абдулла. – Где твоё богатство?
- Овец нет, Абдулла. Сдохли.
- Что случилось? Болезнь?
- Отравы, выпили отравленной воды и легли рядком, все до одной.
- Это неверные виноваты! Неверные отравили источник и причинили тебе зло, Султан.
- Не знаю, – хозяин помолчал, – может, и неверные, визитных карточек они не оставили, заходи в дом, Абдулла! И вы заходите, – хозяин повернулся к сопровождению, – заходите!

Али понравился Султан, вежливый, внимательный. Хотя Восток всегда был вежливым, Восток есть Восток, тут даже неграмотный дехканин знает, например, кто такой Хафиз и чем отличаются его газели от притчей Руми, что именно, какой цвет символизирует аргава́н – иудино дерево – и чем бог Ахриман отличается от стража райских ворот Ризвана, в каждом крестьянине живет джу́ха – остроумный простак: при всем этом получается, что грамота ничего не значит – тот же Султан вместо подписи может прикладывать к бумаге испачканный чернилами палец. С другой стороны, хозяин очень уж внимательный, глазами прощупывает буквально до костей, каждая хребтинка, каждый позвонок уже чешутся от его взгляда.

Поднялись на второй этаж дома, расселись на подушках. Хозяин снял башмаки, скинул носки и прямо на ковре раскатал широкое полиэтиленовое полотно, не спеша двинулся на женскую половину за едой. Принес, держа, как вязанку, обеими руками несколько плоских теплых лепешек, каждая величиной с козью шкуру, аккуратно положил на полиэтилен.

- Ты, Султан, не суетись с едой, мы задерживаться у тебя не будем. Только чай, не больше.
- Хорошо, Абдулла, – молвил хозяин тихо, принес блюдо с орехами, второе блюдо с вяленным кишмишем, поставил рядом с лепешками, потом, держа обеими руками за изогнутый рог, принес тяжелый кочевой самовар, украшенный замысловатым тонким рисунком, в котором проглядывала замаскированная куфическая вязь; знающий Али определил – самовар этот хозяин привез из Ирана. Раздав чашки и блюдца, хозяин сел на плоскую шелковую подушку, лежавшую у входа, и выжидательно посмотрел на Абдулла.

- Я ведь специально шел к тебе, Султан, – сказал Абдулла.
- Благодарю тебя, Абдулла, – тихим, по-прежнему неокрашенным бесцветным голосом произнес хозяин, – ты знаешь, я всегда к твоим услугам, Абдулла.
- Сколько лет твоей дочери, Султан?

Хозяин вздрогнул и резко выпрямился, будто внутри у него что-то оборвалось. Загорелые щеки опали и сделались бледными.

- Что ты имеешь в виду, Абдулла?
- Ничего, просто я спрашиваю, сколько лет твоей дочери, Султан!
- Двенадцать, Абдулла.
- Врешь, Султан-джан, ей уже четырнадцать. – Абдулла с пистолетным щелчком хлопнул камчой по подушке. Мухаммед, положивший свой «калашников» рядом с лепешками и принявшийся за чай, проворно высыпал изюм из горсти назад в тарелку и подтянул к себе автомат. Али и Фатех сидели не двигаясь.

Хозяин сполз с подушки на колени, в груди у него что-то сыро захлюпало, правая щека странно дернулась, поползла вверх.

– Пожалей дочь, Абдулла, – тихим, мгновенно осипшим голосом попросил он, – она же еще маленькая... Единственная дочь, Абдулла! – Хозяин согнулся надломленно, спина его огорбатела, под халатом некрасиво, вызывая жалостливое ощущение, проступали лопатки, – пожалей меня, Абдулла!

– А ты меня жалел, Султан? Там! – Абдулла повел головой в сторону. – В прошлом, в молодости, когда мы находились рядом? – высветлившиеся глаза Абдуллы закатились под лоб, обнажив крупные, коричневато-блесткие белки, узкий, испятнанный оспинами подбородок задрожал, словно бы Абдулла вспомнил нечто такое, о чем без слез вспоминать нельзя – а ведь, наверное, и такие минуты были в жизни Абдуллы. – Помнишь, как ты ушел, бросив меня больного, без памяти, без единого афгани в кармане, а? И взял с собою все лепешки, что у нас были на двоих? Даже кружку и бурдюк с водой прихватил. Все взял с собою... Помнишь?

– Ты наговариваешь на меня, Абдулла. – Хозяин снова нагнулся, стукнулся лбом о пол, хлюпающим слезным голосом протянул: – Не было этого, Абдулла! Это недоразумение, ошибка, навет. – Лопатки на его спине дрогнули, поджались, вбираясь в тело, Абдулла неотрывно смотрел на Султана, высветлившиеся до водяной прозрачности глаза его были жесткими – непроста и непрочно была ниточка, связывающая этих двух людей. – Пощади меня, Абдулла!

– Я прощаю тебя, Султан, – наконец произнес Абдулла. Качнулся, словно изваяние, которым управляла неведомая сила, сел ровно и взял чашку с чаем. – В прошлом году я был в Кабуле – замаскировался под дехканина, овощей кое-каких набрал, привез оптовому торговцу, продал. Походил, посмотрел – не понравился мне Кабул! Но не это главное, главное другое – я увидел тебя, Султан-джан. Вместе с дочерью. А ты меня видел, Султан?

– Нет, – дрожащим сырым голосом произнес Султан, голос у него перестал быть бесцветным, он теперь постоянно наполнялся влагой, словно бы подпитывался специальным насосом – текла и текла жидкость изнутри, – если бы я увидел тебя...

– Понимаю, – кивнул Абдулла, – то немедленно сдал бы хаду⁹.

– Нет, Абдулла, – снова согнулся хозяин, завалился вперед безвольно и словно бы совсем лишенный сил ткнулся головой в полиэтиленовую клеенку, – зачем ты издеваешься надо мной, Абдулла?

– В общем, ты напрасно скрываешь возраст дочери, Султан-джан. И напрасно прячешь ее. Ничего из этого не выйдет. Я сейчас богат, Султан, очень богат, могу купить не только тебя с твоим имением, с землей и со скалами, могу купить весь твой кишлак вместе со скотом, с кашей, которая варится в чанах, с запасом хлеба и мяса, со всеми тряпками, что есть в домах. Ты это осознал, Султан? – уловив слабый кивок Султана, Абдулла огладил ладонью мягкое рябое лицо. – Я ведь теперь совсем не тот, что был раньше, того Абдуллы уже нет. – Видать то, что говорил Абдулла, наболело в нем, Абдулла долго шел к этому разговору, хотел высказать все это справному хозяину Султану, именно ему и никому больше. А друг юности не понимает его, хлюпает носом, корячится, словно лягушка, лбом вдавлины в полу оставляет. Эх, люди! Обмельчал, похоже, ныне мусульманин. – Тебе больше везло в жизни, чем мне, Султан, но Аллах все уравнивал. Вообще в мире все уравновешено – раньше ты был наверху, теперь я, раньше ты взял в жены девушку, которую я любил – мне нечем было заплатить за нее, теперь я породнюсь с тобою и с твоей женой – я женюсь на вашей дочери. Какой калым ты хочешь за нее, Султан?

– Не хочу никакого калыма, Абдулла, – согнувшись в три погибели, прорыдал бедный хозяин.

⁹ Хад – служба госбезопасности Афганистана.

– Это благородно, – одобрил Абдулла, – очень благородно – бесплатно отдать дочь замуж за друга юности. На подготовку к свадьбе, Султан, я даю, – Абдулла отвернул рукав, посмотрел на дорогие швейцарские часы, – даю два дня. И на саму свадьбу – два дня. Потом мы уйдем на отдых в Пакистан. Это для твоей дочери, Султан-джан, будет свадебное путешествие. Хорошее свадебное путешествие – Пакистан. Мир повидает женщина!

Из груди поверженного Султана вырвался сдавленный хрип, он словно бы свалился с крутого каменистого порога своего дома в бездну – катился по откосу, не останавливаясь, ломал себе кости, от ударов из глотки вылетала всякая всячина, которой он был начинен, выплескивалась кровь – из плотно сжатого рта неслось уже не хрип – несло что-то сиплое, нечленораздельное, рожденное болью и внутренними мучениями.

– Моя Сурайё, моя бедная Сурайё, – стонал хозяин, – что с тобою будет?

– Не такая уж она и бедная, – жестко проговорил Абдулла. – Ты не знаешь, Султан, как я богат и как будет богата она. Но если хочешь, я заплачу за нее калым. По весу. За килограмм невесты – пятьдесят тысяч афгани. Могу и больше. Ты представляешь, сколько бы ты заработал, Султан, если бы твоя дочь оказалась откормленной толстухой? – Абдулла засмеялся. – Ты бы сделался миллионером.

Хозяин ничего не ответил, склонив голову, он пожевал сдавленным ртом, если минуту назад он еще сипел, то сейчас и сипеть уже не мог. Скоро он даже держаться и в таком положении не сможет, свалится набок, словно куль с мукой.

Есть такой обычай – покупать невест на вес, платить калым за килограммы, а поскольку каждому жениху нужна жена потолще – «берешь в руки – маешь вещь», – то на толстых женились богатые, на тощих – бедные, социальная граница была проведена четко, сразу становилось понятно, кто есть кто и что есть что.

Абдулла поднялся, Мухаммед, подхватив автомат, – следом.

– Твою Сурайё я смотреть не буду – видел в Кабуле. – Лицо у Абдуллы обмякло – он вспомнил Кабул прошлого года, зеленый базар, где встретил Султана, столкнулся с ним лицом к лицу, сделал защитное движение, закрываясь – а вдруг Султан узнает его? Но Султан, на свою беду, не узнал Абдуллу, степенно, как всякий человек, знающий себе цену, проследовал в чайный дуكان. За руку он вел дочку – прелестное длинноногое существо с нежным лицом и горячей кожей: девчонка была так красива, что Абдулле невольно подумалось – не для земли она создана и не землею – для рая, и раем сотворена, вот ведь как – главными на лице этой девчонки были глаза – огромные, настоящие кляризы, в которые можно сорваться и расшибиться насмерть, темные, глубокие, источающие сиреневый свет – Абдулла даже предположить не мог, что у девчонок могут быть такие глаза, что вообще у людей могут быть такие глаза, – вся бесстрастность и настороженность его раскололись, хлопнувшись под ноги, лишь осколки остались валяться на земле – хрустят нехорошо под ногами, вызывая ломоту в зубах – вот это была девушка! Нос точеный, губы словно бы искусным скульптором вырезаны, лицо – трогательно-доверчивое, требующее защиты. Абдулла тогда и решил, что обязательно доберется до этой девчонки, чего бы ему ни стоило: голову положит, а доберется. Ай да фальшивый друг юности! Султан в свое время исчез невесть куда, прихватив все их капиталы, а Абдулла угодил в тюрьму – оказывается, камера Пули-Чарки давно уже плакала по нему. Спасибо Саурской революции – революция освободила Абдуллу.

Лежать бы тогда Султану в том чайном дуكانе с перерезанной глоткой, если бы не его дочка. Значит, ее зовут Сурайё. Впрочем, что имя! Звук! Красивым именем можно назвать некрасивую женщину. Можно назвать ее и европейским именем, можно негритянским, можно мексиканским – что от этого изменится? Важна суть – не имя, а та, кому это имя предназначено. Сурайё, выходит... Сурайё. Ну что ж, пусть будет Сурайё.

Ну а выследить Султана, узнать, где он живет, было уже вопросом техники. Высоко и далеко забрался Султан, спрятался в каменном гнезде, а единственную дорогу, ведущую в гнездо, заминировал.

Выходя из комнаты, уже у порога, Абдулла остановился, тронул хозяина рукояткой камчи.

– Султан, ты напрасно убиваешься, это оскорбляет меня. Я женюсь на твоей дочери – это шаг порядочности, добра, а ведь я мог не делать этого шага, мог бы просто взять Сурайё как обыкновенную надомницу, и этим бы все закончилось. Она ходила бы со мною везде, всюду, – и в Пакистане, и здесь, и в Иране, – как наложница и только как наложница. А я женюсь на ней, Султан, женюсь. – Абдулла потыкал Султана камчою. – Это, повторяю, благородный шаг, как ты его только не можешь оценить. Эх, Султан, Султан-джан! Раньше ты был тоньше, гибче, умнее. А сейчас? Куда все подевалось? – Гладкое лицо Абдулла сделалось печальным, вытянулось огорченно, словно бы он жалел о прошлом. Куда, спрашивается, все исчезло? – Пора тебе возвращаться, Султан, на исходную точку. Породнимся мы с тобою, Султан, и я сделаю из тебя человека известного и богатого. Афганистан еще заговорит о тебе!

Абдулла круто повернулся, по лестнице бесшумно сошел вниз. Мухаммед, не отставая ни на сантиметр, следом – он был привязан к Абдулле невидимой нитью, этот носатый длиннорукий сарбоз, к которому Али ничего, кроме холода и настороженности, не испытывал, и Али сделалось жалко Абдуллу: не видит вождь, кого держит рядом с собой.

Капитан Сергеев толкнул дверь своей служебной комнатки – неуютной и голой, как и все комнаты, которые занимал штаб царандоя, замер на пороге: в комнатке сидел человек в пятнистой десантной куртке, перепоясанный офицерский ремнем, постриженный, с худой, будто у мальчишки шейей. В груди у Сергеева сделалось пусто и холодно – в межреберье, в самом низу грудной клетки, в разъеме вспух, шевельнулся недобрый холодный комок – неужели Фатех Аскарлов завалился, и вместе с ним завалилась вся операция?

А потом, как Фатех попал в комнату, минуя дежурного? Дежурный бы предупредил мушавера Сергеева о том, что в комнате его дожидается человек, длинное прямоугольное оконце было плотно закрыто, створка жестко притянута к створке, шпингалет чуть-чуть приподнят.

Шпингалет приподнят! Ясно, по какому воздуху проник в комнату старший лейтенант Фатех Акбаров, инспектор уголовного розыска из Душанбинской милиции, выполняющий, как принято писать в газетах, интернациональный долг в Афганистане.

– Входите, входите, Ксан Ксаныч, не стесняйтесь, – насмешливо проговорил Фатех, не оборачиваясь, – кабинет-то ваш! Милости прошу!

Сергеев закрыл за собою дверь. Спросил тихо, словно боясь, что его могут услышать:

– Что случилось, Фатех? Не нашел Абдуллу?

– Почему же? Нашел. Даже более – Абдулла меня приблизил к себе, дал деликатное поручение.

– Какое же?

– К вам прислал, Ксан Ксаныч! К вам! Лично!

– Перестань, Фатех, я спрашиваю тебя серьезно.

– И я серьезно, Ксан Ксаныч. Абдулла дал мне десять человек своих людей и прислал в уезд, чтобы я добыл армейский дизель.

– Чего, чего?

– Чтобы я добыл армейский дизель и пригнал его в кишлак Курдель. Передать по буквам, Ксан Ксаныч? Передаю по буквам: армейский дизель! Анна, Роман, Михаил, Елена, Иван краткий...

– Перестань, Фатех!

– Докладываю по порядку, товарищ капитан, официально, как своему начальнику...

– Перестань ерничать, Фатех! Во-первых, мы с тобою друзья, во-вторых, ты работаешь в зоне, а я в батальоне царандоя – разные, извини, епархии.

– Значит, так... Абдулла принял меня, это было несложно. Бандгруппы стараются сейчас всячески пополняться людьми, гребут всех подряд, единственное что – только партийцев не берут, расстреливают. Как Абдулле было не подгрести меня? А, Ксан Ксаныхч? Это первое. Второе – наиправовый Абдулла конечно же проверяет меня, принимает, ловит не на словах, а на жестях, его помощник Мухаммед – матерый зверь, тоже происматривается, ноздри округляет, но думаю, достану дизель – они прекратят проверку. Тем более что главную сцену в этом спектакле я сыграл так, что комар носа не подточит: я им продался за приличную сумму денег. – Фатех весело хмыкнул, вспоминая сцену, развернулся на стуле, открываясь весь, целиком, с головы до ног, блеснул ровными чистыми зубами. – Сам себя не похвалишь – как оплеванный сидишь. Ну похвалите же, Ксан Ксаныхч!

– Фатех, давай о деле.

– Прошу принять денежки под расписку, Ксан Ксаныхч. – Фатех хлопнул рукой по сумке, лежавшей у него на коленях. – Сто тысяч афонею банкнотами. За то, что денежки измяты, прошу не винить – афони побывали в деле.

– Тебе весело, Фатех, а мне нет. Расписка нужна?

– Чтобы я ее предъявил Абдулле? Так, мол, и так, деньги переданы в царандой русскому советнику Сергееву... В общем, Абдулла женится. Свадьба состоится там же, в Курделе. Два дня дал на подготовку, два дня будет длиться сам пир.

– Кто невеста?

– Дочь Султана Пакши. Такой же уголовник, как и Абдулла, только манеры, может, чуть попроще, да лицо покрасивее и поинтеллигентнее. А так пробу ставить некуда – весь захватан, весь в отпечатках. Пятно на пятне.

– Султан Пакша, Султан Пакша... Имя для меня новое, Фатех. Проверим!

– Партнер Абдуллы по ошибкам молодости. Только Султан Пакша улизнул от королевского правосудия, а Абдулла не успел, отправился в Пули-Чархи. А дальше – все в руках божьих да его величества случая, Ксан Ксаныхч. Где будем брать дизель?

– Чтобы дать свет на душманскую свадьбу? Вот уж не думал, что мне придется быть у душманов агентом по снабжению. Наши узнают – не то чтоб лишнюю звездочку на погоны кинут – отнимут последнее. На родину вернусь старшим лейтенантом.

– Ну как не порадеть родному человеку, Ксан Ксаныхч! Порадейте! – Фатех не слушал Сергеева, приподнялся на стуле, поклонился капитану. – Очень нужен дизель, Ксан Ксаныхч. Иначе я не пройду у Абдуллы экзамен на доверие. Я его потом верну вам, Ксан Ксаныхч, дизель этот.

– Ладно, Фатех. Вот тебе ключ от сейфа, от нижнего отделения, положи туда деньги. Кончив операцию – сдашь сам в Кабул. Дизель я тебе найду. Десантников ограблю, в пехотном полку украду, но дизель достану.

– Вашей щедрости, Ксан Ксаныхч, нет границ, – расцвел Фатех Аскарков, умная рожа, темноглазый, темногубый, темноскулый – на темных скулах горел темно-красный здоровый румянец, темное на темном, пересмешник и знаток восточных анекдотов, – дай вам бог здоровья и много-много детей!

– Иди ты! – помрачнел Сергеев: он хотел, чтобы у них с Майкой был ребенок – маленькое, нежное, вызывающее боль и радость существо, а Майка не хотела – считала, что рано еще, надо пока пожить без детей, для себя, дети будут потом – это единственное, в чем он расхотелся с женой.

– Иду, иду, Ксан Ксаныч, – выставил перед собою ладони Фатех, всем своим видом показывая, что он защищается, а человека, который добросовестно защищается, лучше не трогать, – уже ушел!

– Без нужды не появляйся, Фатех, лишний раз не светись! Хоть и не знают тебя здесь, но чем черт не шутит!

– Спасибо за отеческую заботу, Ксан Ксаныч! Низко вам кланяюсь. – Фатех легким, почти беззвучным толчком распахнул створки продолговатого оконца – оно раскрылось неслышно, дорого блеснув на солнце стеклами, подтянулся и ловкой рыбкой выскользнул на улицу: был Фатех – и нет его, только в воздухе остался едва приметный запах табака, пота и какого-то незнакомого одеколлона, которым Фатех разжился уже у душманов. Не одеколлон это был, а слабая припарочка после бритья, полувода-полунастойка, предохраняющая кожу от нарывов.

Сверху, с макушек недалеких яблонь свалился ветер, взбил рыжий бурун пыли, побряцал створками, стекла тоскливо дзенькнули в двух рамках, и оконце закрылось само собою. Эта стена была глухой, ни одно окно больше не выходило на эту сторону. Фатех знал, что его здесь никто не увидит. Увидят в другом месте, что должно и быть – так задумано по сценарию. Но знать бы, где упадешь – тысячу раз бы плюнул через плечо, не веря ни во что и ни в кого, тысячу раз перекрестился бы, прошептал бы молитву и выплакался, если бы даже не было слез, подстелил бы солому. Фатеха увидел писарь батальонной канцелярии, которому лень было идти в припахивающий от жары и от того, что его давно не убирали, дощаник, он свернул за угол и, укрытый кустами, пристроился у стены по малому делу.

А тут из окна вывалился парень в десантной куртке. Писарь невольно обмокрил себе ноги, но вовремя спохватился и замер: сразу сообразил что к чему.

Налетевший ветер швырнул ему в глаза горсть пыли, но было поздно – опоздал ветер.

Главной горой в кишлаке Курдель, где остановилась группа Рябого Абдуллы, была черная гора – гладкая, без острых сколов, без заусенцев, которые бывают у старых скал, расширяющаяся кверху на манер гриба-строчка. Низ у нее был несколько веков назад подточен странной каменной болезнью, в крепкой черной плоти поселились было змеи, но потоп змей этих кишлачный люд, собравшись скопом, выжил – от их укусов умерло несколько ребятишек. Черная гора была мрачна и безмолвна, на ней ничего не росло – ни арча, ни цепкие горные кусты неопределенной породы, ни узловатые, точенные ржавью голокорые сосенки, ни колючки, на горе не селились птицы, она была голой.

К вершине ее вела одна-единственная тропка, по которой никто не ходил, но тропка не умирала, всегда была свежей и постоянно хранила отпечатки ног – казалось, что люди по ней только-только прошли, ну буквально полчаса назад; пыль хранила следы, были видны перевернутые вверх дном гольши и кремешки, у кремешков разница верха и низа особенно заметна, верх всегда бывает выцветшим, белесым, будто припорошенным сединой, обшарпанным, низ – свежим, сочным, ярким, – хотя ни один человек в кишлаке не видел, чтобы по этой тропе кто-то ходил.

Но Черная гора была выгодным пунктом, на ней можно было поставить колпак с пулеметом и контролировать всю округу, а если затащить туда крупнокалиберный «дешека» да десяток ракет-«стрелок», то можно держать в страхе и воздух – ни самолеты, ни вертолеты не смогут летать над здешними горами.

И на этот раз никто в кишлаке Курдель – даже бодрствующие душманы, расставленные, будто на охоте, по номерам, чтобы охранять страдающего бессонницей жениха и его юную невесту, – не видели, как вверх по узкой тропке, словно бы вытаяв из каменной плоти, двинулась скорбная женская фигурка. Двигалась женщина ловко, бесшумно, на ощупь, не ошибаясь ни на одном из поворотов, тихо перепрыгивая с камня на камень, тенью проскальзывая вдоль опасных стенок, к которым тропа была прилеплена, словно восковой настил – очень непрочно

прилеплена – стремительно, не задерживаясь ни на секунду, одолевая глубокие гибельные трещины, из которых несло могилой. Женщина эта шла в чадре и, судя по походке, была человеком решительным, из тех, кому неведома слабость, чем выше она поднималась, тем печальнее и утомленнее делался ее шаг – неутомимые люди существуют только в сказках, – она присаживалась на камень, чтобы утишить бой надтреснутого сердца, держалась за грудь, успокаивая его, выравнивала дыхание, рвущее ей горло, – женщине казалось, что ее слышит весь кишлак, и она заранее пугалась этого: а вдруг кто-нибудь устремится за нею вслед?

Через час она достигла вершины Черной горы.

Утром люди у дувала Султана Пакши нашли смятую от удара о землю женщину в черной накидке, пропитанной кровью, кровь коричневым блином застыла на сетке чадры, связанной из тонкого конского волоса, обезобразила лицо, бывшее когда-то красивым.

Это была жена Султана, мать Сурайё. Она не могла примириться с предстоящей свадьбой, молила Аллаха, чтобы тот расстроил брак, но Аллах не услышал ее молитв, тогда она решила достучаться до Аллаха иным способом: поднялась на макушку Черной горы и бросилась вниз. Тело ее трепало в полете о камни, перекидывало с выступа на выступ, ломало, обезображивало – ни одна косточка не осталась целой, – упала женщина и подкатилась точно к родному дувалу.

Абдулла, услышав о новости, помрачнел, сгреб лицо в ладонь, привычно помял пальцами щеки – ему надо было впитать новость, пропустить ее через себя, а потом излечиться от нее, опять сделаться самим собою – времени на это требовалось немного. Он услышал, как тоненько поет свадебная флейта, звук ее не утихает ни на минуту, и четкой скороговоркой, так, что было слышно каждое слово, произнес:

– Мне очень жаль! Похороните погибшую женщину, как обычно, до заката, с мусульманскими почестями. – Он специально нажал на слово «погибшая», вложив в это особый смысл и увидев, что его не поняли – почему же Абдулла наделяет случившееся особым смыслом? – добавил: – Ее столкнули с горы, чтобы навредить мне. Я найду того, кто это сделал, и жестоко рассчитаюсь. – Абдулла стиснул кулаки так, что захрустели костяшки пальцев, лицо его посветлело, будто он выпил живительного снадобья, оспины выровнялись, а глаза сделались совсем прозрачными, как вода, – не дай бог попасть сейчас Абдулле под руку! – Обязательно найду! Даю вам слово, братья! Покойница была рада нашей свадьбе и горе мне, что ей не дано подготовить невесту к брачному ложу. Мухаммед! – Абдулла перевел прозрачный, наполненный холодной водой взгляд на своего заместителя. – Ты моя правая рука, Мухаммед! Проследи за тем, чтобы подготовка к свадьбе проходила так, как надо. Чтобы ни сучка, ни пенька, ни занозы, понял, Мухаммед!

– Все понял, муалим, – склонился Мухаммед, не выпуская из руки автомата, черные брови-гусеницы у него шевельнулись, приподнялись домиком, говоря о том, что Мухаммед все намотал на ус, хотя Мухаммед, подражая предводителю, усов не носил, но всегда помнил, что отпустить их может в любое время, глаза его жестко сжались, лицо отвердело, только нос продолжал выглядеть мятой пористой грушей, сделанной из другого материала – совсем не к месту был этот нос на лице, он достался Мухаммеду по ошибке. – Все исполню как надо, муалим! – сказал он.

– И приготовь мне к свадьбе подарок, Мухаммед! Чем будет необычнее подарок, тем лучше.

– Слушаюсь, муалим, – склонился Мухаммед неловко и задом, горбясь – сильные узловатые руки его почти достигали пола, – вышел из комнаты.

Насчет того, чтобы проследить за свадьбой, – это он мог, и плеткой поработать мог, подгоняя нерадивых, и топором, разрубая тушки молоденьких – самых малых барашков, какие только оказались в округе – а какая свадьба может быть без чопона, жареного на углях пастушечьего шашлыка? – мог сварить роскошный плов из ханского риса, так, чтобы в плове не было даже двух спекшихся рисинок, все вроссыпь. Мог медь превращать в золото, из камня

и глины выжимать питьевую воду, мог лечиться без лекарств, а вот насчет подарка к свадьбе – тут Мухаммед был слабоват. Чего Аллах не дал, того не дал. Интересно, какой же подарок нужен муалиму?

Он поугрюмел, замкнулся, сидя с автоматом у дувала. Кривой каменный проулок, круто сползающий вниз, обезлюдел, замер – по этой каменной теснине теперь никто не ходил. Долго думал Мухаммед и наконец придумал – к вечеру на вершину Черной горы поднял трех бородатых моджахедов с ракетами-«стрелками» и установкой для их запуска, из камней огородил защитную шапку, указал, в какой стороне находится Кабул, а в какой – Мазари-Шариф, велел следить за небом.

Уходя, добавил:

– А за Мазари-Шарифом Советский Союз находится, имейте в виду, моджахеды! Стерегите облака! Аллах даст – повезет, большие деньги заработаете! – И кряхтя, словно больной, цепляясь руками за гладкие каменные выковырины, полез вниз.

Тем же вечером в кишлак Курдель из уезда возвратился Фатех с армейским дизелем. Дизель был тяжелый, поставлен на колесах от грузовика, тащили его на лошадях по узкому ущелью цугом. Лошади выдыхались, падали и не хотели вставать до тех пор, пока у них над головами не стреляли из автомата, лошади стонали от напряжения, брызгались кровью, сочившейся у них из ноздрей, тянулись зубами к людям, норовя укусить за ногу, но зная, что такое стрельба, все-таки поднимались и, шатаясь, вместе с людьми тянули дизель дальше.

В ущелье было две каменные теснины, в которые дизель не проходил. Теснины пришлось рвать гранатами, а потом расчищать завалы. Фатех старался так, что и себя загнал, и верных моджахедов загнал. Один из моджахедов – чернобородый, с впалыми щеками и круто выпяченными скулами, похожий на цыгана, не выдержал:

– Ты чего так надрываешься, правоверный? Твоя что ли свадьба?

– Свадьба не моя. – Фатех выбил из себя тягучий липкий комок слюны. Присмотрелся – слюна была с кровью. – Просто я привык держать слово: если я что-то пообещал, то обещание обязательно выполняю. Я обещал в кишлак доставить дизель и от обещания отступлюсь только тогда, когда буду мертвый.

– Это так несложно – живого человека превратить в мертвого, – нехорошо усмехнулся цыган, проколол Фатеха взглядом.

Фатех на усмешку ответил усмешкой: знали бы вы, душки, с кем имеете дело!

– Но для этого меня еще надо сделать таким. – Фатех словно бы с судьбой в кошки-мышки играл: ну зачем дразнить гусей и лезть на верхнюю полку курятника? – Это, как я понимаю, сделать несложно, но что тогда скажет Абдулла? С кого спросит за дизель? – Увидев, что цыган помрачнел и задвигал нижней челюстью, будто боксер, которому нанесли скользкий удар, добавил: – Абдулла любого из вас под землей съест. И повесит. И меня найдет! Мертвого!

Он был спокоен, душанбинец Фатех, знавший язык этих людей, спокоен, как никогда: смерти он не боялся, а точнее, не верил в нее – молод еще был, отсюда и легкость, и этих людей он не считал за людей. Это не люди, а картонные, фанерные фигуры, способные делать лишь одно – нажимать на спусковой крючок автомата. Ему не жаль их, не жаль, если они погибнут, жаль будет, если они останутся в живых.

С душками у него разные цели в жизни. Его цель – вернуться живым домой, и дома, в Душанбе, молча постоять на берегу сварливой горной речонки, рассекающей город, послушать, что она там говорит, на что жалуется, поесть медовых дынь, побывать на работе, пообщаться с друзьями, встретить девчонку, которую еще не встретил, но которую встретит, и она станет для него единственной, необходимой как жизнь, съездить в отпуск... Да мало ли какие заботы могут быть у человека в двадцать три года! Сходить, например, в горы, послушать, как они молчат.

У гор всегда бывает особая тишина, полая, гулкая, в которой хорошо слышно дыхание человека, находящегося далеко-далеко, хорошо слышно собственное сердце, все кругом насыщено, исполнено понимания, и даже немудреный пейзаж, в котором нет ничего лишнего, только камни и камни, вдруг проникает в душу и начинает казаться таким непревзойденным и красивым, что ничего совершеннее в тысячекилометровой округе просто быть не может. Родина есть родина, у нее и запахи другие, и голоса, и ветры, и воздух.

Фатех не жалел моджахедов. Если бы они сдохли, полегли по дороге, до одного, он бы пренебрежительно сплюнул через плечо, бросил дизель и ушел бы пешком, либо на лошади, если, конечно, лошадь была бы способна двигаться в кишлак Курдель, там раздобыл бы подмогу и вернулся за дизелем.

Павшие душманы были бы только свидетельством того, насколько трудно поручение, данное ему Абдуллой: трудно отбить либо уворовать дизель, еще труднее доставить его в это чертово гнездо.

Качались горы над их головами, сверху с казенных закраин падала галька, сыпалось тертое водой и морозом крошево, в груди в лохмотья обращались легкие, рвалось дыхание, рвались ноздри, ныло тело. Фатех, стиснув зубы, подпирал плечом тяжелый холодный зад дизеля и немо ругался: никогда не думал, что придется вкалывать – и как вкалывать! – на душманов. Даже искры сыплются из глаз, падают ярким светом под ноги.

К вечеру дизель был в кишлаке, на каменной, хорошо вылизанной – ни одной соринки – площадке. Душманы попадали на землю тут же, прямо на площадке – не было мочи отползти в сторону. Фатех нашел в себе силы – какие-то обрывки, жалкие остатки сил – распрячь лошадей и отпустить их, сам же свалился рядом с душками, поморщился недовольно – что-то от душков здорово пахнет, пот у них резкий, как моча, с таким потом даже мимо самой завалящей и худой собаки – божьего одуванчика с облезлым хвостом и проваленной пастью не пройти незамеченным, – древний кабысдох обязательно проснется и облает. Эх, правоверные, почаше мыться надо!

Услышав о дизеле, на площадку пришел сам Абдулла, пришел не один, притащил, крепко ухватив рукою за локоть своего без пяти минут родственника, папашу Султана Пакшу. Султана нельзя было узнать, он трясся, голова у него опускалась на грудь, сама по себе, моталась из стороны в сторону, тупо стучали зубы, подбородком Пакша терся о халат – было даже слышно, как что-то брякает у него внутри. И эта беспомощность человека, который еще день назад был здоровым, видел мир объемно и радовался жизни, его отрешенность и тусклый опустошенный взгляд действовали на Фатеха, как удар кулака под ложечку, он даже приподнялся на локтях, сел неловко, вглядываясь в Султана. Фатех не верил в то, что видел.

– Лежите, лежите, правовернее, – осадил рукою Абдулла тех, кто хотел подняться, – отдыхайте! Вы заслужили отдых. – Обошел дизель кругом, восхищенно поцокал языком, уважительно постучал ногтем по металлическому кожуху. – Хорошая машина! Работает?

– Да, муалим, работает. – Фатех выбил изо рта застойный комок, поднялся на ноги, качнулся от усталости. – Дизель опробованный, ток дает.

– Ну правоверный, спасибо! Ну не думал, что так лихо справишься с этой задачей. – Абдулла похлопал Фатеха по плечу и, постукивая пальцем по металлу, еще раз обошел двигатель кругом. – Цо-цо-це-це! Ты видишь, Султан-джан, какой калым я тебе вручаю? Дизель! Ты понимаешь – дизель! Эти машины только губернаторы в своих дворцах имеют, и больше никто. Ты понял, Султан-джан?

Султан в ответ просипел что-то невнятное, попробовал оторвать голову от груди, но она тяжело и беспомощно, будто большая дыня на хлипком стебле, мотнулась в сторону, замерла – что-то отказало в этом теле, надорвалась главная жила, – икнув, Султан неожиданно мягко, словно в нем не было костей, стал заваливаться на бок.

– Мухаммед, поддержи! – вскрикнул Абдулла. Заместитель, бултыхнув спрятанными в лифчике гранатами, подскочил к Султану, подставил под него плечо, рукою ухватил за спину. – Вот видишь, Султан, как мои люди ценят тебя, как тебя любят. Мухаммед, ты любишь моего родственника? – Абдулла неожиданно остановился и круто развернувшись, ткнул заместителя в грудь. – А?

– Конечно, муалим, – пробормотал Мухаммед покорно, – какие могут быть разговоры.

– Не слышу бодрости в голосе, – тихо процедил Абдулла, потом наклонился к Султану и прокричал: – Вот видишь, Султан-джан, как мои люди к тебе относятся? А это... – Он снова потыкал в грудь Мухаммеда. – Это такой волк, который ни к кому хорошо не относится. – Тут Абдулла перестал тыкать пальцем, положил руку на плечо заместителя, дружески тряхнул. – Заслужить его доверие очень трудно. А ты, Султан, заслужил. – Абдулла сделал еще один обход дизеля, цокая языком и постукивая по корпусу ногтем, прошел мимо Фатеха, потом снова развернулся на сто восемьдесят градусов и оказался около Фатеха. У Абдуллы просто выработалась привычка – видать, душманская, – проходить мимо цели, обнюхивать и осматривать ее, заглядывать по ту сторону, невидимую: а что там находится? – потом круто разворачиваться и возвращаться к боевой черте, заранее намеченной им, откуда удобно нападать. – А теперь скажи, правоверный, где ты взял двигатель? – Абдулла ткнул Фатеха пальцем в грудь. Точно так он тыкал Мухаммеда. – Откуда дизель?

Мухаммед, поддерживая бескостного Султана, приподнял ствол автомата: среагировал на голос предводителя, он вообще по-своему реагировал на любой вопрос Абдуллы.

– Ну как же, муалим, – откашлялся Фатех, почувствовал, что внутри, далеко в глубине возник нехороший холодок, тяжелый, будто склепанной из железного листа комок шевельнулся в нем, больно оцарапал живую ткань, – я же от вас получил деньги, приличную сумму...

– И что же?

– Эти деньги применил по назначению – купил дизель.

– За сто тысяч? Всего сто тысяч отдал? Это же стоимость автомата, одного маленького «калашников», а не дизеля. Так дешево?

– Дешево, муалим, но... купил у одного хозяйственника из афганской армии. Ему все равно этот дизель надо было в кишлак доставить. Я ему сказал, что наш кишлак лучше, чем тот кишлак, куда он хотел загнать дизель, а главное, доставлять не надо, мы сами его доставим. Он мне не поверил, что наш кишлак лучше того кишлака, но я дал ему деньги, и он поверил, что наш кишлак действительно лучше того кишлака.

– Какое звание было у хозяйственника? – холодно поинтересовался Абдулла.

– Капитан, муалим. Капитан.

– Недолго продержится Бабрак Кармаль, раз его армия начала торговать дизелями. – Абдулла снова пощелкал ногтем по железному кожуху машины, провел пальцем по вентиляционной реечке как по стиральной доске, – раздался дробный автоматной стук. – Деньги я тебе, правоверный, верну. И те, что ты от меня получил, и те, что за дизель заплатил. Заходи ко мне через час.

– Благодарю, муалим. – Фатех покорно приложил руку к груди, улыбнулся так, чтобы Абдулла не увидел его улыбки, – щедрость ваша не знает границ.

Вскоре на кишлак опустилась ночь – черная, без единого просвета, без звезд: небоверху затянула незрячая сажевая пленка, без единой рванины – ни одной ломаной щелочки, в которую мог протечь свет, – шагает человек в такой ночи за порог и сразу исчезает в темноте, словно снадобье, живая растворимая пилюля, опущенная в стакан: был человек – и нет его. Тяжело в такие ночи бывает не только людям – тяжело зверью, птицам, даже разным невесомым мошкам, для которых что ночь, что день – все едино, – и тем тяжело. Темнота щемящим скулежом отозвалась в груди Фатеха.

Он ночевал недалеко от лошадей, которые тянули дизель, прикорнул на недолго – сон мгновенно обрушился на него, выкрутил, словно мокрую тряпку: во сне перед ним с ужасающей быстротой пронеслись картины последних дней, на Фатеха рушились скалы, пули беззвучно выкальвали куски камней, он считал их, хотел найти свою пулю – как это странно, даже оторопь берет: «своя пуля!» – но не мог отыскать, хрипел, стискивал зубы и больше всего боялся заговорить во сне по-русски. А потом вдруг услышал надрывный тяжелый стон и открыл глаза. Сна как не бывало – отлетел беззвучно прочь, ноги-руки ломило, но той боли, что имела вечером, тоже не было – значит, отпустило.

Стон повторился. Фатех перехватил рукой поудобнее «бур», поднялся – темень была плотной, осязаемой, словно грубая толстая ткань. Фатех поднес к глазам пальцы – пальцев не было видно. Грубую, плотно сбитую, словно войлок, ткань ночь вспорол надрывный стон. Фатех вытянулся на него свечкой, стараясь сообразить, что это за стон, какой истекающий кровью человек издает его, напрягся и в следующий миг понял – стонала лошадь.

Та-ак, теперь можно было зажечь фонарь, не то ведь как бывает – иногда на стон специально выманивают людей. Он прошел в дувал, где ночевали лошади, а то, что увидел, кольнуло сердце – все лошади стояли, а одна лежала, беспомощно вытянув ноги.

Они у нее были словно бы перебиты миной, совершенно чужие, шкура дрожала мелко, предсмертно. Лошадь попыталась поднять голову на свет фонаря, но это слабое движение ей не удалось, голова грузно плюхнулась не землю, храп сморщился болезненно, обнажая крупные, еще не сработавшиеся зубы – лошадь-то молодая, ходить бы ей да ходить, пахать поля, помогать хозяину убирать урожай, но нет – уготована была другая участь. Эта лошадь была убита им, Фатехом, исполняющим чужой приказ, надорвана им, дизелем, Абдуллой. Фатеха кольнула злость, он ощутил себя виноватым, сел около лошади на корточках.

Та вывернула окровавленный глаз, заранее пугаясь человека, захрипела.

– Прости меня, прости, – совсем как мальчишка, которому до слез бывает жаль всякую сломанную птичью лапку, каждого выпавшего из замусоренного родительского гнезда желтоклювого птенца, каждого лисенка и мокроглазого суслика, угодившего в силос, пробормотал Фатех, погладил лошадь по морде. Та шевельнула губами, от тяжелого вздоха в сторону вновь ключьями полетела розовая пена, глаз испуганно закатился под костяную закраину, обнажив натертый красный белок. – Прости, животина!

Рад был бы помочь Фатех надорванному коню, да чем он может подсобить – он сам практически находится в положении этого сдыхающего коня: не среди своих же – среди чужих!

Копытом лошадь скребнула по камню, выбила подковой искры, шкуру пробило током – каждая шерстинка поднялась, раздался стон, за стоном последовал вздох – последний, и лошадь затихла.

К утру сдохла еще одна лошадь, Фатех помрачнел, глядя на павших коней – у него весь род был связан с лошадьми. Отец, которой хоть и жил уже давно в городе, но до сих пор бредил лошадьми, и брат отца, агроном, так до конца дней своих не выбравшийся из колхозного кишлага, хотя отец несколько раз предлагал работу в Душанбе, в министерстве сельского хозяйства, не говоря уже о тех, кто живет на более старых и высоких сучьях родового дерева. Как ни суди, как ни ряди, Фатех тоже виноват в том, что лошади пали, он даже осунулся, и, когда утром к нему подошел Али, чтобы приветствовать, Фатех не отозвался на вежливые приветственные слова юного моджахеда. Что он, собственно, имеет общего с этим басмачом? Только то, что дышит с ним одним воздухом? Но это временно, это сегодня, завтра их дороги разойдутся, и он будет дышать другим воздухом.

– Фатех, научите меня стрелять? – попросил Али, униженными глазами глядя на парня в десантной куртке.

Фатех мрачно смерил его с головы до ног – просьба Али ему не понравилась.

- Ты что, не умеешь нажимать пальцем на спусковую собачку? Научить нажимать?
- Нанимать умею, стрелять, как вы, не умею.
- Зачем тебе этому учиться? Война все равно скоро кончится.
- Ну, Фатех! Ну, пожалуйста! – Лицо Али залилось краской, он столкнулся взглядом с Фатехом, увидел, какие у того жесткие, все засекающие глаза: так смотрят на людей сквозь прорезь прицельной планки. – Вы чего, Фатех? – осекся Али. – Чего с вами?
- Ничего. – Фатех опустил глаза. – Подошли лошади, на которых я привез дизель. Я в этом виноват.
- В чем вы виноваты, Фатех, в чем? Да ни в чем вы не виноваты.
- Виноват, и окончим разговор. А стрелять я тебя не буду учить. Тебе это не нужно!
- Я же моджахед, Фатех. – Али покраснел еще больше, кожа на лице у него запылала, хоть прикуривай, на щеках распустились целые цветки. Фатех испытующе посмотрел на парня, Али уловил этот взгляд и расценил по-своему. – А моджахеды должны хорошо стрелять.
- Зачем? – прежним жестким тоном спросил Фатех.
- Чтобы защищать Аллаха.
- Значит, «Ислам в опасности», да?
- Да, «Ислам в опасности».
- Та веришь этому?
- Верю, Фатех.
- А ведь скоро все кончится. – Фатех вздохнул. – Скорее бы! Чем скорее кончится, тем лучше.
- Кончится тогда, когда из Афганистана уйдут все шурави, а мы перебием оставшихся неверных.
- Что тебе сделали шурави, Али?
- Мне лично ничего, но что им тут делать? Зачем они пришли, их сюда никто не звал.
- Насколько я знаю, они тоже сюда не самозванно явились.
- Вы рассуждаете, будто сами – шурави, – проговорил Али смущенно, в голосе его прозвучало отчуждение, и Фатех, обычно очень внимательный не только к словам, а и к тону, этого отчуждения не уловил, он продолжал сумрачно смотреть на Али, словно бы соображая, на что этот паренек будет годен в будущем, по какому пути пойдет.
- А что бы ты сделал, Али, если бы... – Фатех осекся, зажато вздохнул, словно бы ему предстояло пройти через полосу холодного дождя, за дождем одолеть вторую полосу, затем мороз, огонь, медные трубы, и так гряда за грядой до самого смертного часа. Но что-то в нем умерло в этот момент, перестала существовать какая-то клетка, целая группа клеток, Фатех склонил голову на плечо и умолк. Правая щека у него дернулась, вторя ей, задергалась выпуклая, посиненная изнутри жилка на виске.
- Вы что-то хотели сказать, Фатех, – напомнил ему Али, – но не сказали.
- Так, мелькнула одна странная мысль в голове.
- И что же? Говорите!
- Мелькнула странная мысль в голове и угасла. – Фатех, переводя разговор в другое русло, подкинул в руке громоздкий «бур», ловко перехватил винтовку другой рукой, пристукнул прикладом о твердую, каменной прочности землю. – Интересно, кому эта мортира принадлежала восемьдесят лет назад?
- Какому-нибудь толстобрюхому англичанину из экспедиционного корпуса, – Али продолжал улыбаться, он был весь внимание, но из голова у него не выходила фраза, которую Фатех начал и не закончил. Али знал, какое у нее было продолжение, и был уверен, что продолжение было именно таким, каким он его вычислил. Но произнес бы сам Фатех фразу до конца, тогда не надо было бы никаких вычислений. Впрочем, домысел, приплюсованный к

недосказанному, и есть то, что уже, считай, было высказано. Фатех не похож ни на одного из моджахедов. И как только Али не видел этого раньше?

– Ясно, что не афганцу «бур» сделали в Англии, – сказал Фатех.

– Шурави этот «бур» должен шлепать за три километра. Никакой бронезилет не спасает.

– Должен. Слово у «бура» не расходится с делом. Скажи, как образованный моджахед, Али: правда, что у англичан из огромного экспедиционного корпуса остался в живых только один человек? – Тон, которым говорил Фатех, был невнятным – он словно бы ни к кому не обращался, хотя говорил с Али, и Али подтверждающе кивнул, будто сам был свидетелем гибели английского экспедиционного корпуса. – Интересно, где лежат кости этого достославного владельца? – Фатех огладил пальцами настывший ствол «бура». – Здесь лежат, в земле под Кабулом, или в Англии?

– Фатех, вы не переживайте насчет лошадей, – сказал Али, – сдохли эти лошади – не беда, будут другие, такие же.

– Таких уже не будет, Али. Ничто в мире не повторяется. Если и будут, то уже другие. А другие – это другие, Али. Ты славный парень, – Фатех обхватил Али за плечо, – и тебе не надо ожесточаться. Ничего нет хуже в мире, чем ожесточение. Ожесточенные люди мешают жить. – Фатех сощурил глаза, прикинул расстояние, отделяющее их от макушки Черной горы, заметил там что-то и стиснул ствол «бура». – На горе кто-то копошится, Али. Не кафиры ли?

– Не знаю, Фатех.

– Сбегай-ка ты отсюда, Али, от Абдуллы сбегай! – с неожиданным напором произнес Фатех, в голосе его прорезались новые нотки, что-то больное в них было, выстраданное, незнакомое. – Убегай, пока не поздно.

– Что-нибудь случилось, Фатех?

– Пока ничего.

– А случится?

– Вполне возможно. – Фатех снова, сощурившись, бросил взгляд на мрачную, влажно поблескивающую на солнце верхушку Черной горы – похоже, утренний пот пробил камень, гора неожиданно вспотела. Фатех засек далекий предмет, передвинувшийся с одного места на другое, по лицу у него словно бы кто горячей щеткой провел – лицо у Фатеха дрогнуло, изменилось, у Али в виске привычно запульсировала, отзываясь на тревожной сигнал, раздавшийся внутри, округлая подсиненная жилка. – Не нравится мне все это, – проговорил Фатех. – Действительно, уходи-ка ты отсюда, парень. Ты молод, тебе надо еще жить.

«Оп-ля!» – чуть не выговорил Али. Есть такое эмоциональное выражение «оп-ля!», европейцы им пользуются, когда чему-нибудь удивляются либо преодолевают барьер, выражение это понравилось Али, хотя было совсем не мусульманским. Али показалось, что сердце у него оборвалось – он, правда, не понял еще, что это было, радость или испуг? – заколотилось оглушающе громко, он перевел взгляд на макушку Черной горы, но ничего там не увидел. «Что же там рассмотрел Фатех?» Может быть, Али за первым открытием сделает второе?

– Ты веришь мне, Али? – спросил Фатех.

– Конечно. С той самой минуты, когда вы сели ко мне на коня. Если хотите знать, Фатех, вы для меня – муалим, вы и никто иной среди моджахедов.

– А насчет меткой стрельбы – ни к чему тебе это умение. Али! Ты должен жить, а не воевать. – Фатех поглядел на смуглое горячее лицо Али, отмечая то, чего не видел раньше – наивный радостно-очищенный взгляд, словно Али совершил важное открытие, припухлые розовые губы, на которых застыл невысказанный вопрос, ровно натянутую кожу на узких висках: Али не надо было под кого-то подделываться или вести себя по чьему-то подобию, он мог быть только самим собой, и это поведение, ни под кого не подделанное, было для Али самым естественным и лучшим. – Хорошо, Али?

– Хорошо, муалим! – весело улыбнулся Али.

– Только не зови меня муалимом при Рябом Абдулле. Возревнует ведь и не спустит мне этого. Если понадобится твоя помощь, я могу к тебе обратиться, Али?

– Конечно, муалим. Но вы говорите загадками, а загадки – это как большой костер – на них можно сгореть. Скажите, какое поручение вы хотите мне дать?

– Потом скажу.

– Ну хотя бы намеком, Фатех, одной фразой. А?

– Ну... Если я попрошу тебя отвезти в одно место письмо – отвезешь?

– Влюбились, муалим? – Али восторженно захлопал в ладони. – Я угадал?

– Влюбился, Али, – кивком подтвердил Фатех, глаза у него были грустными: хозяин не принадлежал к романтическому племени влюбленных, увы, – сквозь грусть просматривалась жесткость, настороженность, готовность к бою. – Безнадежно влюбился!

– И кто же она? Деньги на калым есть? Неужто замужняя? – Али прихлопнул рот ладошью: не приведи Аллах болтать лишнее, а вдруг тайна сама по себе вылетит – это же беда!

– Ты только никому не говори, Али!

– Что вы, что вы, Фатех! Можете быть спокойны. И распоряжайтесь мною, как самим собой. Я весь молчание, никому ни слова. – Али улыбнулся Фатеху ободряюще, чистые честные глаза его смотрели преданно, прямо. Фатех невольно подумал: «Если бы среди душков было бы побольше таких заблудших, мы бы через два месяца все банды разогнали. Но таких, как Али, мало, большинство другие – днем кетменем помахивают, из себя изображают крестьян, зарабатывают себе на сухари, а вечером берут автоматы и идут зарабатывать на повидло, консервы, водку и масло. Труд убийцы оплачивается хорошо. Куда лучше, чем труд дехканина».

Фатех Аскарлов хорошо знал язык своего народа, интересовался и языком соседей – имелись у него способности к языкам: в Афганистане дари стал для него родным языком, даже трудный пушту, над которым многие переводчики корпят, ломая голову, уши свои и уши чужие, и тот он одолел без труда, в здешней сложной обстановке разбирался легко и везде, в любой компании был своим человеком.

В Афганистане живет много таджиков, по численности своей они уступают, пожалуй, только пуштунам, но пуштуны все время кочуют: летом они в Афганистане, осенью в Пакистане, а зимой даже в Индию уходят, попробуй, уследи за ними и сосчитай! Туркменам, узбекам, казахам в Афганистане меньше, чем таджикам, большинство из них – потомки тех самых басмачей, которые когда-то пытались громить Среднюю Азию, сломали свои украшенные мусульманскими полумесяцами сабли о штыки и шашки Красной Армии и в конце концов откатились за кордон. Последний накат басмачей на советскую территорию был в годы Великой Отечественной: благополучно получив по зубам – что, собственно, и хотели получить – басмачи убрались туда, откуда пришли.

Находясь в Афганистане, Аскарлов часто всматривался в лица людей, он словно бы искал в них черты тех, давным-давно уже исчезнувших из плоти народа басмачей – они остались лишь в памяти, не находил, и это, признаться, радовало его. А с другой стороны, не все таджики и туркмены – потомки тех басмачей. Здесь испокон веков селились все, кто хотел. Поселенцы мирно соседствовали друг с другом, выращивали виноград, возделывали поля, пасли скот и пили кишмишевую водку. Басмачи были лишь малой частью их.

Он ощущал себя одиноко среди людей Абдуллы, здесь надо было всегда, в любое время суток бодрствовать – человек в его положении должен все время держать круговую оборону: не спускать пальца со спускового крючка, из ствола не вынимать проверенного патрона с неотсыревшим капсюлем – в любую минуту может начаться стрельба, и тогда патроны проверять будет поздно. Одно только лицо вызвало у него ощущение тепла и надежды, и то в последнюю минуту – лицо Али. Фатех понял: этот юный моджахед пока еще не до конца примкнул к душманам, его еще можно с кривой дорожки увести в сторону, не то дорожка эта утянет его так

далеко, что ни родители, ни сам он рады не будут. Али, вполне возможно, зароят в землю раньше, чем зароят его деда, если, конечно, дед жив, и уж во всяком случае – раньше отца.

«Как там наши?» – возник в голове невольный вопрос, отозвался теплом и усталостью во всем теле, в Фатехе родилось желание как можно быстрее очутиться среди своих, было оно таким сильным, так подчинило себе Фатеху, что он протестуя помотал головой, потом с силой сжал пальцами виски: думать о своих – только расслабляться. Но как же не думать о капитане Сергееве, с которым он встретился в Волгограде, в милицейской школе, о ребятах из управления царандоя – Фатех работал в зоне, в которую входило несколько уездов, в управлении было несколько шурави, возможно, что кто-нибудь из них сейчас находится в батальоне, которой готовится прихлопнуть группу Рябого Абдуллы – интересно, сколько людей пойдет на операцию, батальон, рота, полроты? Как не думать о сиреневой ласковой земле, что тянется вдоль границы по ту сторону Афганистана? Хорошо побывать у дяди вечером в кишлаке, послушать, как залиристо кричат птицы майны – они вечером и утром поют звучнее, громче обычного, почувствовать глухой топот коровьих ног – кишлачное стадо возвращается с пастбища лишь в сумерках, дородные, крупастые буренки едва несут самих себя, и не выпускать этот глухой топчущий звук до тех пор, пока за последней кормилицей не закроются ворота – через несколько минут весь кишлак будет источать запах парного молока, а улыбчивая тетушка Фируза принесет племянничку большую эмалированную кружку с молоком, к молоку – кусок белой, пахнувшей дымом и житом лепешки – как не порадовать любимому племяннику!

Словно бы наяву почувствовал Фатех, как пахнет теплое парное молоко, запах его смешивается с тонким ароматом печи, муки, жара, сливочного масла и листового подноса, ему почудилось, что из плотно сжатых глаз выкатилось по крохотной, будто выбитой ветром, слезке – признак слабости.

Но не было того кишлака, был кишлак другой, с другими запахами, притихший в ожидании – а вдруг действительно случится беда? – с глухими, сложенными из камня дувалами, каждой из которых может выдержать гаубичный огонь, – без жилого блеска в окошках. Операция эта была не первой у Фатеху, он уже внедрялся в бандгруппы, а когда те попадали в кольцо, благополучно уходил, оба раза уходил не один, а с душками, чтобы обеспечить себе легенду на будущее. Работал он всегда под своим именем – так было вернее. Фатехов в Афганистане много, и многие из них в документах так и обозначены, коротко и просто: Фатех, и никаких фамилий. У тысяч афганцев в документах нет фамилии, стоит одно имя: Нажмуддин, Хабибулло, Асадулло, Абдулла, Салех. А уж потом, на пальцах люди объясняют, из какого кишлака они пришли, кто их родители, кто соседи, и что они имеют за душой.

«В рай людей с длинными фамилиями не берут, – невесело подумал Фатех, – вот афганцы и избегают длинных имен, довольствуются малым. Интересно, есть ли фамилия у Али? Должна быть. Все-таки он из интеллигентной семьи, на которую законы рая не распространяются. Из такой семьи в рай берут за другие заслуги. Эх, Али, как тебя занесло в эту шайку-лейку, чего ты тут ищешь?»

Али в это время был занят поисками – он искал Мухаммеда и не нашел: Мухаммед, кряхтя и стеля, опираясь на автомат, как на посох, ушел на макушку Черной горы, к «стражам неба». Али увидел его нескладную фигуру на тропке среди камней, сжал рот в досаде: не вовремя ушел Мухаммед. В следующий миг подумал: а может, и к лучшему, что тот ушел на Черную гору – пусть себе ползет, корячится, не то ведь этот человек мог до конца и не дослушать Али, мог расплеваться, разораться – изо рта у него постоянно летит разный сор и дурно пахнет гнилым мясом, – лучше уж пойти к самому Абдулле.

Но идти к Рябому Абдулле еще более опасно, чем к Мухаммеду: предводитель – умный, ухо держит остро, с ним надо держаться осторожно. Холодок пополз у Али по коже, он понимал, что надо решаться: сейчас или некогда? Или он сейчас поднимется к Абдулле, войдет в доверие, сделается его правой рукой, таким же, как и Мухаммед, помощником, а потом сме-

стит Мухаммеда ко всем чертям – Мухаммеду с его автоматом и гранатами только в мясных рядах работать, или уже никогда не поднимется до Абдуллы – шансы повыситься среди этого быдла у него ничтожные. А он должен повелевать, у него на роду написано повелевать.

Лучась улыбкой, Али все-таки двинулся к Абдулле. Пустили его не сразу: Абдуллу охраняли двое неразговорчивых бородатых моджахедов с ручным пулеметом, отбиваться из пулемета они могли не менее часа; Али невольно посмотрел на себя и сравнил с охранниками – у него одна-единственная валкая лента с патронами, которой он гордится, как орденской повязкой, носится с нею, носится, умиленные слюни пускает, а у почтенных моджахедов целый патронный завод: патроны, патроны, патроны! Моджахеды ощупали колючими глазами Али, он почувствовал, что у него даже вывернули карманы – а не завалилась ли там граната, – пошарили под мышками – а не оттопыривает ли пройму рукоятка пистолета, убедились что этот пацаненок со своим карабином не страннее кишлачного пастуха, вооруженного кнутом, рывкнули дружно, двое в одну глотку, общую:

– Чего тебе?

– Мне нужно к муалиму Абдулле. У меня очень важное дело к муалиму Абдулле.

– Шел бы ты отсюда, щенок! – мрачно посоветовал старший охранник, щеку его кривоватой скобкой украшал шрам. – Муалим занят, у него нет времени на тебя.

– Но у меня действительно очень важное дело, очень! – взмолился Али, ему даже дышать стало трудно, на горло будто петлю накиннули. – Мне очень нужно видеть его. Через час уже будет поздно.

– Слушай, парень, я тебя по-хорошему предупредил. – Старший охранник выступил вперед, шрам на щеке у него начал синеть от того, что человек, стоящий перед ним, не захотел услышать простых слов – ведь людским же языком ему говорят, что муалим занят. Или может, он лучше понимает язык боли, вывернутых рук, отбитых ногтей, разорванного рта, переломанных ключиц и отрезанных ушей? Очень несложно будет перевести простые слова на один из этих языков. Старший охранник понимающе улыбнулся и обнажил крепкие зубы.

– Чего тебе, верный моджахед? – вдруг раздался ласковый голос сверху.

Али поднял голову: в небольшое, углом приотворенное оконце второго этажа на него смотрел Абдулла. Лысая голова его неясно мерцала – то ли ангельский нимб над нею горел, то ли еще что, Али не разобрал, и невольно оробел.

– Ты ко мне пришел? – спросил Абдулла.

– К вам, муалим.

– И тебя не пускают?

– Нет.

– Верно делают, – сказал Абдулла. Старший охранник, услышав это, проворно выбросил руку вперед, подсекая Али под ремень карабина. – Но у всякого правила есть исключения, – произнес тем временем Абдулла. – Пропустите его, правоверные!

Старший охранник выдернул руку из-под ремня, поправил карабин на плече Али и нехотя отошел в сторону.

Али поднимался на второй этаж, кровь у него вышибала барабанные перепонки: стук был оглушающим, Али волновался – или сейчас, или никогда, или сейчас, или никогда... ноги были вялыми, карабин оттягивал плечо, во рту появился вкус железа. Вдруг сзади с грохотом распахнулась дверь и грубый тяжелый голос остановил его:

– А карабин?

Али повернулся на обмякших чужих ногах, увидел старшего охранника с синим шрамом на щеке.

– Что карабин?

– С карабинов к муалиму нельзя, дурак! Сдай немедленно оружие!

У Али одно плечо – свободное от карабина – даже затряслось, начало ловить ключицу: когда же все это кончится? Он ведь такой же моджахед, как и эти бородатые вепри, равный среди равных... Но тогда почему его все время притесняют, норовят ткнуть ботинком в зад? Он покорно сдал карабин и поднялся к Абдулле.

У Абдуллы все рассказал про Фатеха. Свои подозрения Али преподнес как свершившееся: так, мол, было! Фатех предложил ему работать в хаде – Али передвинул Фатеха по параллели в грозную организацию, уже готов план ликвидации Абдуллы и тому подобное – романтический Али красок не пожалел, не в лице в конце концов он находится... Абдулла – не то что вепри-охранники – Абдулла выслушал его внимательно, пощипывая ухоженными, наманикюрованными пальцами подбородок, ни разу не перебил – и то, что Абдулла не перебивал, был так внимателен, подбадривало Али.

Глаза у Абдуллы опасно посветлели, оплющились, из них исчезла глубина, будто жидкость, наполняющая глазные яблоки, послалась внутрь, Абдулла сжал кулаки – костяшки остро захрустели, – перевел взгляд в оконце, в котором не было ничего интересного: горы, сплошная каменная плоть, редкий слоистый туман сизого костерного цвета, дым, а не туман, рожден огнем – вполне возможно, что где-то что-то горит, никак не может дым уплыть по ущелью в низину, прочно пристрял к горам, но Абдулла не отрывал взгляда от оконца, а когда Али кончил говорить, вдруг начал по-птичьи кивать головой.

Он впитывал в себя информацию, будто еду, пропускал через глотку в желудок, переваривал, как бы переваривал всякую другую пищу, и на лице его теперь ничто не было написано – ни удивление, ни злость, ни огорчение, только высветлившиеся, обратившиеся в воду глаза свидетельствовали о том, что Абдулла злится.

– Ну и что ты, верный моджахед, думаешь делать? – наконец спросил Абдулла, помял пальцами брови, распрямляя несколько огнисто-рыжих волосенки, неведь как сохранившихся – везде волос вылез, а тут малость уцелел. Али видел Абдуллу так близко впервые, поэтому старался запомнить, как тот выглядит – в мелких мелочах, самых мелких, может быть, в деталях, – историки наверняка ведь будут писать портреты таких людей.

– Я? – Али почувствовал, что у него слабеет, садится голос. – Один путь, муалим, – арестовать кафира.

– Нет, моджахед, – вздохнул Абдулла, оспины на его лице стали краснеть, наливаясь темной сукровицей – лицо Абдуллы часто меняло свой цвет, в Абдулле происходили перемещения, одно настроение уступало место другому, все это отражалось на лице, – изберем другой путь!

Послушно склонив голову, Али замер – Абдулла сейчас будет говорить, а Абдулла вместо проникновенной очистительной речи засунул руку в карман халата, начал шуршать там бумажками. Выдернул, по-крабью держа пальцы в горсти. Из горсти торчало несколько красных кредиток – сотенные, купюра по сто афгани.

– Здесь пять тысяч афгани, – сказал Абдулла и, не считая деньги, передвинул крабью сцепку к Али, высыпал ему горсть в готовно подставленные ладони, – это тебе плата за честную службу, моджахед. Будешь честно служить дальше – еще получишь. А неверному мы дадим денек пожить, все равно кишлак заперт, отсюда не выйти. Мне он пока нужен. Во-первых, завтра свадьба и некому управляться с дизелем, во-вторых, может, он не один. Вдруг еще кто-то проник в яблоко и точит червем изнутри – словом, за ним надо присмотреть. Ты все понял, верный моджахед?

– Так точно, муалим! – по-военному ответил Али.

– Теперь иди! – Абдулла не отрывал взгляда от оконца, в которое были видны горы, он словно бы что-то ощущал, рябой человек с хорошим чутьем – у Абдуллы будто бы были обнажены нервы, он видел то, чего не видели другие. Но что он все-таки узрел в этом хлипком оконце? Али было интересно и, уходя, он вытянул, словно индюшонок шею, заглянул в косо-

ватый прямоугольник пространства. Увидел то, чего не ожидал увидеть: длинную перистую вспышку на вершине Черной горы, белый хвост, протянувшийся за небольшим металлическим жалом – не сразу понял, что с горы пустили ракету, подумал: это иллюминация в честь предстоящей свадьбы, – а когда сюда долетел резкий хлопок выстрела, невольно вздрогнул – этот звук не для праздника; в следующий миг до него донесся гул авиационного мотора, и только тогда Али понял – с макушки Черной горы ушла «стрелка» – зенитная ракета.

Следом за первым запуском был сделан второй – макушку окутало пламенем, вниз посыпался галечник, пополз тяжелый серый дым, который был тяжелее тумана, с кого-то из моджахедов сорвало чалму, и она грязной мятой тряпкой, вяло перебирая холстяными крыльями воздух, птицей понеслась в сторону. Али ясно увидел, что «стрелка», зависнув над Черной горой, стоит на одном месте и никуда не думает устремляться, это вызвало в нем неясное щемление, обиду – слишком много накопилось в Али детских обид, – но в следующий миг ракета дрогнула, стронулась с места и унеслась в пространство.

Через полминуты в полуоткрытое оконце донесся взрыв, створки дзенькнули, запахло самими по себе, в стекло ударило пыльное крошево, и Абдулла резко, словно циркач, взметнулся к потолку, вскинул в обе стороны руки со стиснутыми кулаками:

– А ведь попали верные моджахеды, точно попали, а? Попали, попали! – Голос у него сорвался на торжествующий фальцет, он еще раз подпрыгнул, стремясь угодить кулаком в высокий потолок, потом подхватив халат за полы, проворно понесся вниз. – Молодцы, верные моджахеды!

Растолкав охранников, Абдулла выскочил во двор, сдернул с крюка повод белого коня, дремавшего у дувала, и ловко взлетел в седло.

– Тому, кто сбил самолет, – награда в полмиллиона афгани! – прокричал он ликующе: недаром у него с утра было хорошее настроение, недаром он был добр – с верными моджахедами всегда надо быть добрым, жаловать и поощрять их, не скупиться на деньги и подарки, и они отслужат свое, вернут сторицей, – неверных тоже надо одарять, только деньги эти должны быть отлиты из свинца, и тогда мир будет таким, каким его хочет видеть Абдулла. – Полмиллиона афгани тому, кто сбил самолет! – Абдулла поднял коня на задние ноги. Конь жалобно заржал, просил передние копыта воздух, скосил глаза на хозяина, моля, чтобы тот пощадил его, но Абдулла не хотел щадить коня, огрел его кулаком между ушей, добавил еще несколько ударов, разорвал коню губы и галопом взнесся в готовно распахнутые ворота. Хорошо, что их успел раскрыть один из охранников – бросив пулемет, он поспешил к высоким деревянным створкам, иначе бы Абдулла выбил их конем, покалечил белого красавца и покалечился бы сам.

Второй охранник с жалобным стоном подхватил брошенной пулемет и, припадая на одну ногу, побежал следом за Абдуллой. Жаль было смотреть на него: ведь если что случится с Абдуллой, с охранника, как с барана, чулком сдернут шкуру. Но и удержать Абдуллу охранник не мог – разве способен простой человек удержать вождя?

Самолет шел из Кабула. Был он обыкновенным гражданским «Ан-двадцать шестой», которой государственная кампания «Бахтар» использовала для рейсов в Герат, Кандагар, Делалабад, вез самолет пассажиров – нескольких военных, возвращающихся в части из отпуска, вез также продукты: муку, крупу – семь мешков риса и два мешка манки, сахар. А в больших фанерных коробках, по окоему обшитых планками – большие, склеенные из плотной металлизированной бумаги – нечто такое, вызвавшее у летчиков невольную нежность и прилив отеческих чувств – детское питание. Маршрут, по которому шел «Ан», был проверен – тут никогда не стреляли, душманские гнезда не встречались, а те мелкие группы, что с обезьяньим упорством ходили по хребтам, стараясь не сорваться с камней, никогда с собой не носили ракет.

Экипаж взлетел как обычно, набрал высоту над Кабулом, размеренно крутя «коробочку», насаживая виток на виток, будто нить на огромную шпулю – глиняный Кабул, который сдав-

ливал со всех сторон современный центр своими рыжасто-песочными сотами, опускался вниз, будто на дно, покрывался туманом и пылью, мутнел. Чем выше они забирались, тем меньше становилось видимых ориентиров, предметы расплывалась, теряли очертания, – картина собственного вознесения к солнцу нравилась летчикам, у людей немолодых она вызывала шенячий восторг, – потом совершили прыжок через хребты Баграма, развернулись и пошли на запад.

Через двадцать минут летчики засекли острую, словно высверк солнца вспышку среди мрачных, будто бы присыпанных углем гор, передали о ней диспетчеру, попытались увернуться от тепловой ракеты, но не увернулась – «стрелка» оказалась проворнее их. С горловым натуженным гудом ракета нацелилась на сажевое сопло правого двигателя и ловко нырнула в отверстие. Раздался взрыв.

Самолет разметало в воздухе, обугленная, каменисто-твердая крупа долго сыпалась дождем на землю; мука, в небесах впитавшая в себя керосин, лихо горела под самыми облаками, а потом страшными пылающими ошметьями валилась на камни, сорвавшийся со станин левый двигатель, целый, работающий сам по себе, ушел далеко вперед и упал лишь в трех километрах от места взрыва: то, что еще несколько минут назад было самолетом, экипажем, пассажирами, грузом, существовало и жило, в считанные миги обратилось в лохмотья, в обломки, в мусор, рухнуло на плоскую каменную плешь, окольцованную защитным поясом темных скалистых гряд, долго полыхало, ярилось, плевалось жирным дымом, огнем, а потом, словно бы подчинившись некоей команде, стихло.

Не сразу люди Абдуллы добрались до обломков – дорогу перегородило ущелье, через него пришлось переправляться, как через бурную реку, со страховкой, а когда добралась, то каменная плешь была холодна, тиха, обломки тоже холодны и тихи, и лишь запах горелого мяса, пластика и резины напоминал о том, что тут недавно неистовствовало пламя.

– Неплохо, неплохо! – пробормотал Абдулла, боком передвигаясь среди черных куч, – будет чем похвастаться в Парачинаре. Хороший бутончик угодил под нож садовника!

Поддел ногой яркую, жалобно бренькнувшую игрушку – заводной автомобиль, который вез своему ребенку один из отпускников – аккуратную японскую «тойоту», в которой все было сделано, как в настоящей машине, все вентили и гайки отштампованы, на маленькие лаковые шины был даже нанесен рисунок. Игрушка взметнулась вверх, и Абдулла легко поймал ее рукой. Стер с нарядного бока копоть, брезгливо поморщился: а вдруг эта копоть – чья-нибудь кровь? Уголки губ у него дернулись. Абдулла оглянулся, увидел Али, которой шел следом и держался рукою за горло, щеки у него то раздувались на манер резинового мяча, то опадали, делаясь морщинистыми, старыми, и по лицу Абдуллы проползла тень разочарования: что же это таким слабаком выказывает себя верный моджахед? Он хотел бросить Али игрушку с криком: «На, держи довесок к твоему гонорару», но не кинул – слабак не был достоин этого, перевел взгляд на следующего моджахеда. Это был юный Файзулла, крестьянский парень, у которого ничто не вызывало тошноты.

Абдулла раздвинул губы в одобрительной улыбке – крестьянский парень вмиг поймал эту улыбку и чуть ли не по воздуху подлетел к нему, и зная, что Абдулла любит дисциплину, повиновение, смиренно приложил руку к груди, склонил голову:

– Готов выполнить любое ваше приказание, муалим!

Ох, уж эта восточная цветистость, сколько над ней Абдулла ни посмеивался, сколько ни отпихивал ногою от себя, и топтать даже пробовал, а все-таки она приятна! Сунул игрушку в подставленную ладонь Файзуллы:

– Это тебе награда за будущие подвиги! Отправь домой в деревню – младшие братья обрадуются. – Абдулла знал, что в кишлаках малых семей не бывает, все семьи большие, многодетные и у Файзуллы явно есть братья. Еще для Абдуллы было важно, что эти люди не порывают со своим началом, для них родительское гнездо – не просто теплая лунка, в которую –

выпав однажды! – не обязательно возвращаться; когда человек привязан к этой лунке, помнит о ней, то им бывает легче управлять – как много значат связи со сладким клубнем дома!

В одном месте Абдулла остановился, замер, будто в голову ему пришла внезапная мысль, рот у него сплюснулся в узкую ровную линию, мягкое лицо одеревянело – нет, не мысль пришла в голову Абдуллы, он увидел врага. Люди, следовавшие за ним по скорбному пепелищу, остановились, замерли, почтительно ожидая, когда Абдулла двинется дальше.

А Абдулла не двигался, он с прежним одеревяневшим лицом смотрел себе под ноги.

Под ногами лежала оторванная по плечо мощная мужская рука с напряженными мышцами, поросшая жестким черным волосом. В пальцах был мертво зажат пистолет – система Абдулле известная, «макаров», советская марка. Пистолет был вытерт по углам до белизны, исцарапан, видать, неплохо послужил своему владельцу, не раз выручал его, и сейчас готов был подсобить хозяину, хозяин приготовился защищаться, но обстоятельства оказались сильнее его. На запястье поигрывал светлыми бликами браслет. Абдулла нагнулся посмотреть часы – не сорвались ли с браслета?

Часы были на месте – японская «сейка». Абдулла пробормотал:

– Раньше «сейки» только избранные носили, а теперь все кому не лень. И этот! – Повернувшись, увидел Файзуллу, который к нему стоял ближе других – получив подарок, почувствовал себя приближенным к Аллаху, – приказал: – Поищи, нет ли где документов?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.